«Если бы Салман Рушди или Харуки Мураками написали "Ходячих мертвецов"».
Amazon

ЧЁРНЫЙ ЛЕОПАРД РЫЖИЙ ВОЛК

МАРЛОН ДЖЕЙМС

18+

fanzon

Fantasy World. Лучшая современная фэнтези

Марлон Джеймс

Черный Леопард, Рыжий Волк

«Эксмо»

2019

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44

Джеймс М.

Черный Леопард, Рыжий Волк / М. Джеймс — «Эксмо», 2019 — (Fantasy World. Лучшая современная фэнтези)

ISBN 978-5-04-103628-7

- Мировой бестселлер 2019 года. - Автор — лауреат Букеровской премии. - Роман по жанру является кроссовером «темной фэнтези» и «магического реализма». - Экзотический фон Древней Африки и необычные герои, колдуны-оборотни и воители. - Глубокий мифологизм и поэтика насилия, свойственная прародине человечества. Африканский буш полон чудовищ и мстительных духов. Но поступки людей порой не менее чудовищны. У Следопыта — волчий глаз и нюх, который чует человека даже через месяцы, а заклинание Сангомы защищает его от оружия. Он бывал в царстве мертвых, в плену гиен-оборотней и общался с демонами. Его друг, человек-леопард, зовет его найти похищенного ребенка вместе с великаном-Ого, трехсотлетней ведьмой и женщиной-воином. «Опасная, галлюцинаторная Древняя Африка. Фантастический мир, словно созданный Толкиным и описанный энергичным языком Анджелы Картер. Роман глубокий и умный, как книга Джина Вулфа, более кровавый, чем рассказ Роберта Говарда». — Нил Гейман «Литературный эквивалент Вселенной Марвел — роман, наполненный головокружительными отсылками на старые фильмы и недавние сериалы, древние мифы и классические комиксы, сливающиеся во что-то совершенно новое и поразительное». — Митико Какутани, The New York Times «Джеймс создал огромный фэнтезийный роман о темных временах Африки, полный ведьм, духов, ослепительных имперских цитаделей и непроходимых лесов. В жанре преобладают образы, происходящие из европейского Средневековья, ""Черный Леопард..."" же нов и увлекателен». — Wall Street Journal «Самый обсуждаемый фэнтезийный эпик с момента трансформации ""Песни льда и огня"" Джорджа Р.Р. Мартина в ""Игру престолов""». — Kirkus Reviews Содержит нецензурную брань.

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-103628-7

© Джеймс М., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

В этом повествовании упоминаются 8
1. Собака, Кот, Волк и Лис 11
2. Малакин 74
Конец ознакомительного фрагмента. 106

Марлон Джеймс
Черный Леопард, Рыжий Волк

Marlon James
Black Leopard, Red Wolf

© 2019 by Marlon James
© В. Мисюченко, перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Джеффу – за первую четверть луны и еще за миллион всякого

ПЕСОЧНОЕ МОРЕ
РЕКА УБАНГТА
ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ
РЕКА ДВОЙНЯШКИ
КОЛДОВСКИЕ ГОРЫ
ОЗЕРО АББАР
НИЖНЯЯ УБАНГТА
ТЕМНОЗЕМЬЕ
МВЕРУ
ДОЛИНА УВОМОВОМВОМОВО
БЕЛОЕ ОЗЕРО
КРАСНОЕ ОЗЕРО
РЕКА КЕДИКЕРЕ
КРОВАВОЕ БОЛОТО
КАРТА СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ 14
С
1. ФАСИСИ
2. МАНТА
3. ПУРПУРНЫЙ ГОРОД
4. ДЖУБА
5. КУ
6. ГАНГАТОМ
7. ЛУАЛА-ЛУАЛА
8. КОНГОР
9. МИТУ
10.МАЛАКАЛ
11. ДОЛИНГО
12. КАЛИНДАР
13. УВАКАДИШУ
14. НИГИКИ
15. ЛИШ

В этом повествовании упоминаются

Джуба, Ку, Гангатом

Кваш Дара, сын Кваша Нету – король Северного Королевства по прозванию Король-Паук.
Следопыт – охотник, ни под каким другим именем более не известный.
Его отец.
Его мать.
Любимый Дядя – великий вождь народа Ку.
Ку – название речного племени и территории.
Гангатом – речное племя и враг народа Ку.
Луала-Луала – речное племя к северу от Ку.
Абойами – отец.
Айоделе – его сын.
Шаман – некромант племени Ку.
Итаки – речная ведьма.
Кава/Асани – мальчик из племени Ку.
Леопард – оборотень-охотник, известный под несколькими другими именами.
Юмбо – лесные феи и охранительницы детей.
Первая Сангома – противоведьма.
Минги:
Жирафлёнок,
Дымчушка,
Альбинос,
Колобок,
Сросшиеся близнецы.
Асанбосам – чудовищный пожиратель человеческой плоти.
Вождь племени Гангатом.

Малакал

Аеси – советник Кваша Дара, дополнительные четыре ноги Короля-Паука.
Бунши/Попеле – речной дух, русалка, оборотень.
Соголон – Ведьма Лунной Ночи.
Уныл-Ого – очень высокий человек, но не великан.
Амаду – работорговец-Барышник.
Биби – его прислужник.
Нсака Не Вампи – охотница, убивающая хищников на заказ.
Найка – наемник.
Фумели – умелый оруженосец Леопарда.
Белекун Большой – старейшина-толстяк.
Адагейджи – старейшина-мудрец.
Амаки Склизлый – старейшина, никому не ведомый.

Нуйя – женщина, одержимая вампиром в обличье птицы-молнии[1].
Бултунджи – оборотни гиены-мстительницы.
Зогбану – тролли, изначально вышедшие из Кровавого Болота.
Венин – девушка, выращенная на корм зогбану.
Чипфаламбула – громадная рыба.
Гоммиды – порой милые лесные существа.
Эвеле – злобный гоммид.
Эгбере – его кузен, злобный, когда голоден.
Анджону – дух Темноземья, читающий в сердцах.
Безумная обезьяна – душевнобольная обезьяна.

Конгор

Басу Фумангуру – старейшина Северного Королевства, убитый.
Его жена, убитая.
Его сыновья, убитые.
Семикрылы – наемники.
Кафута – хозяин дома.
Мисс Уадада – хозяйка борделя.
Экоййе – мальчик-проститутка, обожающий цибетиновый мускус[2].
Буффало – весьма сметливый бык-буффало.
Конгорское комендантское Войско – местные блюстители по-рядка.
Мосси Азарский – третий префект Конгорского комендантского Войска.
Мазамбези – префект.
Ржавый Ого – еще один Ого.
Синий Ого – еще один Ого.
Устроитель Зрелищ – мастер наживаться на показательных боях Ого.
Лала – его рабыня.
Мэйуанские ведьмы – мерзостные порождения, прозываемые духами грязи.
Токолоше – маленький гремлин, умеющий становиться невидимым.

Долинго и Мверу

Старец – хозяин дома и южанин-гриот[3].
Королева Долинго (так утверждается).
Ее канцлер.
Айоджиль – дворянин из Долинго.
Чиноло – еще один дворянин.
Долингонец – юноша-раб.

---

[1] В южноафриканской мифологии *ипундулу* (молния) принимает образ черно-белой птицы размером с человека, которая крыльями и когтями вызывает сверкающий разряд и гром. Этот вампир с ненасытным аппетитом к крови часто служит или водит знакомство с ведьмами и нападает на их врагов (*здесь и далее – прим. перев.*).

[2] Парфюмерное средство, приготовленное из выделений желез зверьков семейства виверровых, особенно южноафриканской циветы.

[3] Гриоты составляли отдельную социальную касту профессиональных певцов, музыкантов и сказочников (зачастую бродячих) у западноафриканских народов. Раньше им не разрешалось иметь собственность, их делом было ходить от селения к селению, веселя народ песнями и сказками. Они не только рассказывали о древности, в их обязанности входило сообщение новостей, а нередко слухов и сплетен. Во время песен и рассказов гриоты аккомпанировали себе игрой на музыкальных инструментах, чаще всего на коре и маленьких барабанах, которые африканские сказители привязывали к запястьям.

Белые Ученики – наичернейшие из черных магов и алхимиков.
Гадкий Ибеджи – уродливый близнец.
Джекву – белый страж короля Батуты (дух в теле Венин).
Ипундулу – вампир в облике птицы-молнии.
Сасабонсам – крылатый брат Асанбосама.
Адзе – вампир и клопиный рой.
Элоко – травяной тролль и людоед.
Лиссисоло Акумская – сестра Кваша Дара, монахиня «Божественного сестринства».
Затенения – демоны тьмы на службе у Аеси.

Миту

Икеде – южанин-гриот.
Камангу, сын.
Нигули, сын.
Косу, сын.
Лоембе, сын.
Нканга, сын.
Хамсин, дочка.

Малангика и южные территории

Молодая Ведьма.
Две Сумасшедшие Обезьяны.
Торговец.
Его жена.
Его сын.
Камиквайё – белый ученый, обратившийся в чудище.

1. Собака, Кот, Волк и Лис

Bi oju ri enu a pamo.

Один

Малец мертв. Больше и допытываться нечего.

Слышал я, далеко на юге есть королевство, где королева убивала мужчину, принесшего ей плохую весть. Так, может, хотите послушать историю, в которой малец не такой уж и мертвый? Истина меняет вид, когда крокодил съедает с неба луну, и все ж моя история сегодня та же самая, какой была три дня назад и какой будет завтра, так что плевать на богов и тебя с твоими расспросами. Сидельцы здешние болтают про тебя. Говорят даже, что боги знают, какой ты скромник. Там, где другие кланяются, ты всем телом пластаешься у ног безумного Короля и зовешь его божественным сыном величайших из богов. Ты ко мне заявился пропахший мастикой для натирки дворцовых полов. До того скромник, что тебе, видать, писюн красной петушиной кровью омочили, когда ты родился. На юге нет такого? Ну, а у вас-то чем его смачивают?

Bi oju ri enu a pamo.

Не все, что зрит око, устам гласить следует.

Малец мертв, что еще остается знать? Истину? Истина разве единственное, что есть на юге?

Факты не облекаются ни в цвет, ни в форму, факты – это просто факты. Вот некоторые. Эта камера больше прежней. Нюхом я чую только высохшее дерьмо казненных, слышу только их все еще вскрикивающих призраков. В твоем хлебе полно тараканов, а вода твоя отдает мочой двенадцати стражников и козы, какую те поимели для забавы. Тебе истина нужна или история?

Так уж позволь поведать тебе историю.

Жила-была женщина, родившая ребенка от быка-буффало.

У того сына был сын от гиены. У того сына был сын от шакала. Тот сын сладил сынка со змеей, что жила возле длинной тропы, обсаженной пятьюстами деревьями, которые отбрасывали полтысячи теней. Змея попробовала проползти сквозь деревья, петляя меж стволов, пока чересчур уж слишком не вытянулась и не сдохла. Когда змея сдохла, она стала речкой. Сын ее, горячо любивший мать, но не знавший любви к женщинам, построил у реки город. Река – это никакой не символ. Река – это река.

Слушай, и я расскажу тебе, что я просто человек, кого одни зовут Волком, а иные и того хуже.

Малец мертв. Та старуха принесла тебе иные вести? Я знаю, что ты говорил с ней. Ведьма говорила, что в голове у мальца бесы кишмя кишат. Никаких бесов, одна дурная кровь. Могу рассказать про его смерть.

Будешь слушать, тогда я начну с Леопарда.

Или с Ведьмы Лунной Ночи.

Или с Ого, а то ведь кто еще споет песнь по нему? У тебя вид человека, кто никогда не проливал крови. А все ж я чую ее на тебе. Кровь и кожицу. Ты не так давно мальчику обрезание делал.

Нет, я тебе не вопрос задал. Кровь все еще у тебя между пальцами. Глянь, как ты таишь, как сильно это волнует тебя, пальцами нос трешь, чтоб запашок ее уловить. Глянь на себя, Шаман.

Нет, стражу ты звать не станешь.

Изо рта моего слишком многое вылететь может, прежде чем мне его дубиной заткнут.

О самом себе подумай. Мужчина с двумястами коровами, кого в восторг приводит клочок мальчиковой кожицы и девчонка, какой не суждено стать женщиной ни для одного мужчины. Потому как раз это ты и ищешь, так? Темную такую пустяковину, какую не сыщешь ни в двадцати мешках золота, ни в двухстах коровах, ни в двухстах женах. Кое-что, тобой потерянное… нет, отнятое у тебя. Тот свет, ты видишь его, и ты хочешь его, не свет от солнца или от бога грома в ночном небе, а свет безо всякой порчи, свет в мальчишке, не сведущем о женщинах, в девчонке, что ты купил себе в жены, не потому, что тебе жена нужна, ведь у тебя есть двести коров, а нужна тебе такая жена, которую ты можешь первым прорвать, потому как ты ищешь его, свет этот, в дырах, черных дырах, мокрых дырах, в неразросшихся дырах, тот свет, что ищут вампиры, и ты получишь его, ты облачишь его в обряд: обрезания для мальчика, вступление в супружеские обязанности для девочки, – и, когда прольют они кровь, и слюну, и сперму, и мочу, ты все это на своей коже оставишь, чтобы отправиться к дереву ироко[4] и воспользоваться первым же попавшимся дуплом.

Малец мертв, и все остальные тоже.

Я каземата этого не помню. Или что эти два окна в углу сходились. И что стена эта коричневая, а не серая. Это ведь не тот самый каземат, зачем тебе утверждать это? И почему начинаю я думать, будто ты огорчен тем, что видишь меня? В том, должно быть, дело. Ты допрашивать мастак, понятно мне, почему ты безъязыкий.

Меня тут быть не должно бы.

Разговор в этих стенах суров. Слышу, как твоя новая жена берет твоего сына, стоит тебе уснуть. Ты знал, что в моей камере семеро было? Четыре ночи назад. Платок, что у меня на шее, принадлежал тому единственному, кто вышел на своих двоих. Он, может, когда и правым своим глазом снова глядеть сможет.

Других же шесть. Записывай, как я скажу.

Старики говорят, ночь – дура. Что ни сделай, она не осудит, но и не упредит. Первый подошел к моей постели. Было уже темно, так что одни тени да запахи двигались. Один нес с собой запах свежего говна на пятках, оно странно, ведь никаких животных тут не было. От другого несло духами проститутки. Я проснулся и увидел предвестника моей собственной погибели, им был мужик, сдавивший мне горло. Пониже, чем Ого такой, но повыше лошади. Вонял так, будто весь базар при себе нес. Схватил меня за шею и в воздух вздел, пока остальные в сторонке помалкивали. Попробовал я его пальцы разжать, да в хватке у него сам дьявол сидел. Колотить его в грудь было все равно, что колотить в камень. Держал он меня на весу, будто драгоценным камнем любовался. Двинул я ему коленом в челюсть, да так, что он зубами себе язык откусил. Он меня бросил, и я, будто бык, на его яйца набросился.

Упал он, а я схватил его нож, острый как бритва, и резанул ему по горлу. Двое меня за руки схватить хотели, да я голый был и скользкий. Его нож – мой нож – всадил меж ребер и слышал, как сердце у одного лопнуло. Третий ногами кренделя выделывал, кулаками тряс, плясал, как муха ночная, и зудел, как комарик[5]. Я-то кулак сжал да два пальца выставил, как уши у кролика. Раз – ткнул ему в левый глаз, да и вытащил его весь целиком. Он заверещал. Глядя, как он ползает по полу, отыскивая свой глаз, я позабыл еще о двоих. Жирдяй сзади на меня кинулся, я пригнулся, он через меня перелетел и упал, а я прыгнул, схватил камень, что мне подушкой служил, и бил его по голове, пока морда его месивом не запахла. Последним был мальчишка. Он орал. Слишком расстроен был, чтоб о жизни молить. Посоветовал я ему

[4] Большое лиственное дерево, живущее до 500 лет, которому на западном побережье тропической Африки приписывают сверхъестественные свойства.

[5] Аллюзия на описание манеры вести бой одного из лучших бойцов в истории мирового бокса Мухаммеда Али (Кассиуса Клея), который «порхал, как бабочка, и жалил, как пчела».

быть мужчиной в следующей жизни, потому как в этой он и на червяка не тянул, и полоснул его ножом прямо по горлу. Кровь его в пол ударила раньше, чем малый на коленки пал. Я позволил полуслепому в живых остаться, потому как нужны женам по ходу жизни всякие истории, а, Жрец? Инквизитор. Не знаю, как и звать-то тебя.

Ладно, те – не твои люди. Хорошо. Значит, не придется тебе песнь смертную петь их вдовам. Ко мне днем люди приходили и грозили из меня обезьяну сделать, а потом еще ночью люди приходили, грозили, чтоб вел себя, как мышка. Тебе нужно либо мое признание, либо мое молчание, но не требуй и того, и другого.

Ты, кажись, недоволен, что я все еще тут с тобою заперт, но я в выражениях лиц не силен. Потому-то и доверяю своему нюху. Что тут увидеть предстоит, известно как ложь. Хотя если ты еще дальше свой стул отодвинешь, то наверняка из окна выпадешь. Уповай на Итуту[6], молю тебя. Итуту, нетрепетность и покой разума и сердца, превыше всего. Как вы на юге это зовете, или юг не так крут, чтоб в покое пребывать? Я мог бы ухватить тебя за шею и сломать ее, потратив меньше сил, чем мне требуется, чтоб кистью шевельнуть. Мог бы по кадыку тебе врезать, прежде чем ты стражу крикнул бы. Схватил бы сиденье, на каком сижу, да гвоздал тебя по башке, пока из тебя соки не потекут, и что бы тогда делать твоей девочке-жене, Жрец? Чья жизнь вовсе обедняла бы в твое отсутствие?

Ладно, успокойся, Жрец, Инквизитор, кто ты ни есть. Во мне меньше ненависти к тем, кто допрашивает, чем к тем, кто богам служит, а ты мне и впрямь нравишься. И, прошу, не подавай знаков страже. Не я буду заперт тут с ними – они окажутся тут взаперти со мной, а судьба жестоко обошлась с твоими первыми семью. Я тут не за тем, чтобы убивать, и тебе не тут умирать. Ты пришел сюда за сказанием, разговорил меня так, чтоб боги нам обоим улыбнулись.

День за днем шел я по бушу[7] и по песку, под солнцем и в дождь, днем и ночью. До того долго, что и не помнил, куда забрел и когда, да и не волновало меня ни то, ни другое. Это – правда.

Да, это правда: когда меня нашли, не было на мне никакой одежды, – только в этом ничего нового. Белые полосы вдоль рук. Белые знаки по всей моей груди и на ногах, на звезды похожие. Траур, говоришь? Признание вины? Бывает, что белые звезды, нанесенные белой глиной, – это белые звезды, нанесенные белой глиной.

Замели меня как бродягу, за вора приняли, пытали как предателя, а когда известие о смерти мальца долетело до вашего королевства, арестовали как убийцу. Ложь в этом каземате привольно льется… Я не сказал, что из твоего рта.

Белые звезды носил он в великой печали и в знак великой вины по случаю смерти. Такое громадное горе ему никогда не одолеть, разве что богам поднести их как звезды и молить, чтоб взяли их обратно на небеса. Ничего из этого не я сказал – ты сболтнул.

Знак – это всего лишь знак.

Я сказал: знак – это всего лишь знак.

Так желаешь послушать эти истории или нет?

Жил в Пурпурном Городе купец, о ком говорили, что он жену потерял. Пропала она с пятью золотыми кольцами, с десятью и еще двумя парами серег, двадцатью и еще двумя ручными и десятью и еще девятью ножными браслетами. «Говорят, у тебя нюх есть отыскивать то, что иначе так и осталось бы пропавшим», – сказал купец. Мне тогда под двадцать лет было, и я уже давно был отлучен от отцовского дома. Купец решил, что я что-то вроде пса-ищейки, а я сказал: ну да, говорят, что у меня нюх есть. Он швырнул мне что-то из нижнего белья своей жены. След ее был до того слаб, что почти омертвел, зато привел он меня в три деревни. Может,

---

[6] *Итуту* – в верованиях йоруба оккультное воплощение «спокойной силы», «величавой сдержанности». Это эстетическое представление нашло выражение в скульптуре (выражения лиц) и других видах искусства. Привнесенное из Африки в США, оно обрело там среди последователей эстетики йоруба особую важность и ценность как выражение «крутости».

[7] В Африке бушем называют равнины, поросшие кустарником; дикую, необжитую местность.

знала она, что рано или поздно люди выйдут на охоту, потому как было у нее по хижине в трех деревнях, и никто не мог сказать, где она жила. Каждый дом вела девушка, в точности похожая на нее и даже откликавшаяся на ее имя. Девушка в третьей хижине пригласила меня войти, указала на скамейку, мол, садись. Спросила, не мучит ли меня жажда, и направилась к кувшину со сладким пивом масуку раньше, чем я «да» успел сказать. Позволь напомнить, что зрение у меня обыкновенное, зато, как было сказано, нюх отменный. Так что, когда принесла она кувшин с пивом, я уже учуял отраву, какую она в него бросила, такой жена мужа травит, плевок кобры называется, она теряет вкус, когда с водой смешивается. Протянула мне кружку, я ее взял, схватил руку девушки и заломил ей за спину. Поднес кружку к ее губам и стал край пропихивать сквозь стиснутые зубы. Тут слезы полились, и я убрал кружку.

Девушка привела меня к своей хозяйке, жившей в хижине у реки. «Муж мой бил меня так сильно, что у меня выкидыш случился, – поведала та. – Есть у меня пять золотых колец, десять и еще две пары серег, двадцать и еще два ручных и десять и еще девять ножных браслетов, я их тебе дам, а еще ночь со мной в постели». Я взял четыре ножных браслета и отвел ее обратно к мужу, потому как его деньги мне были нужнее ее драгоценностей. Потом я сказал ей, чтоб девушка из третьей хижины угостила его пивом масуку.

Вторая история.

Как-то ночью отец мой вернулся домой, весь пропахший какой-то рыбачкой. От него несло ею, а еще деревом доски для игры в баво[8] и кровью мужчины, но не отцовой. Отец играл с одним бингва, мастером баво, и проиграл. Бингва потребовал свой выигрыш, а отец схватил доску баво да треснул ею мастера по лбу. Отец утверждал, что забрел на постоялый двор подальше, чтоб выпить, баб пощипать и в баво поиграть. Он лупил своего соперника доской до тех пор, пока тот шевелиться не перестал, после чего ушел из бара. Только от него ничуть не пахло потом, не очень-то сильно пыль чувствовалась, дыхание ничуть не отдавало пивом – ничего такого. Был он не в баре, а в притоне Опиумного монаха.

Так вот, пришел отец домой и с криком велел мне вылезать из зернового амбара, где я обитал, потому как к тому времени из дома папаша меня вытурил.

– Иди сюда, сын мой. Садись и сыграй со мной в баво! – орал он.

Доска лежала на полу, многих зернышек не хватало. Слишком многих для хорошей игры. Только папаша мой желал не играть, а выиграть.

Ты, Жрец, наверняка знаешь про баво, если нет, то я должен тебе разъяснить. На доске четыре ряда по восемь лунок, у каждого игрока по два ряда. Каждому игроку полагается по тридцать два зерна, но у нас было меньше, уж не помню, по скольку в точности. Каждый игрок кладет шесть зерен в лунку *нюмба*, но мой папаша положил восемь. Мне б сказать, отец, ты что, играешь по-южански, по восемь вместо шести? Да папаша мой не тратил слов там, где можно тумака дать, а бивал он меня и за меньшее. Всякий раз, как я зерно бросал, он тут же говорил «взято» и забирал мои зерна. Только его сильно тянуло выпить, и он потребовал пальмовой водки. Мать моя принесла ему воды. Он схватил ее за волосы, отвесил две оплеухи и рявкнул: «Чего голосишь? Твоя кожа еще до заката про все забудет». Мать не доставила ему удовольствия полюбоваться на ее слезы, она ушла и вернулась с водкой. Я принюхивался, нет ли яда, и был бы рад его почуять. Меж тем, пока папаша мать лупил за то, что она колдовство в ход пускала, чтоб либо свое старение замедлить, либо ускорить отцово, он зевнул в игре. Я посеял свои зерна: по два в лунку до самого конца доски – и забрал его зерна.

Папашу это не обрадовало.

---

[8] *Баво* (архаичное название, *совр. – бао*) – одна из многочисленных настольных игр в семействе «манкала», распространенных по всему миру (особенно в Африке, Центральной Азии, в некоторых областях Юго-Восточной Азии и Центральной Америки) и часто называемых играми в зерна. Играют в них два игрока на доске с лунками. Доска может быть изготовлена из дерева или любого другого материала. Мастера игры в баво (их называют *бингва*) пользуются большим уважением среди соплеменников.

– Ты загнал игру в бесконечный посев, – сказал он.

– Нет, мы только начинаем, – заметил я.

– Да как ты смеешь говорить со мной так непочтительно, зови меня «отец», когда обращаешься ко мне!

Я ничего не сказал и заблокировал его на доске.

У него во внутреннем ряду лунок не осталось зерен, и он не мог ходить.

– Ты смухлевал, – заявил он. – На твоей доске больше тридцати двух зерен.

– Ты то ли ослеп, – заметил я, – то ли считать не умеешь. Ты посеял зерна, и я взял их. Я посеял зерна по всему своему ряду и стеной отгородился, а у тебя нет зерен, чтоб ее пробить.

Отец шлепнул меня по губам, не успел я и всех слов произнести. Я упал со скамейки, а он схватил доску баво, намереваясь ударить меня ею, как он бингва треснул. Но папаша мой был пьян и неповоротлив, а я недаром время тратил, наблюдая у реки за тем, как оттачивают свое искусство мастера борьбы *нголо*. Он взмахнул доской, и зерна взметнулись россыпью в небо. Я раза три перевернулся назад через голову – так на моих глазах делали борцы нголо – и припал к земле на четвереньках, словно поджидающий добычу гепард. Отец крутился, отыскивая, куда я подевался, будто я пропал куда.

– Выходи, ты, трус. Трус, как все вы, *ку* по крови. Трус, как мать твоя, – выкрикивал он. – Вот почему мне в радость бесчестить ее. Как и ты, она не выказывает ничего, кроме покорности. Сперва я тебя изобью, потом ее изобью, что тебя таким вырастила, что ты подстилкой для мужиков будешь.

Яростный, как туча, что опустошила мой разум и вычернила сердце, я подпрыгнул и забил ногами в воздухе, раз за разом все выше.

– Ну вот, теперь он зверьком прыгает, – сказал отец.

И пошел на меня. Только я был уже не мальчик. Я набросился на него в маленьком помещении, нырком уперся ладонями в землю, направив их к ногам, и, взметнув ноги в воздух, перевернулся вперед через голову, колесом изогнув все тело, колесом накатил на него, зажав его шею меж своих ног, и жестко повалил. Голова отцова так сильно грохнулась о землю, что мать снаружи услышала треск. Мать моя вбежала в дом и закричала:

– Дитя, оставь его! Ты обоих нас погубил!

Я глянул на нее и сплюнул. Потом ушел. То был первый и последний раз, когда я слышал, как папаша заговорил про Ку.

У сказки этой два конца. По первому концу, ноги мои сплелись вокруг отцовой шеи, толкнули его на землю и сломали позвонки у черепа. Он умер прямо там, на полу, а моя мать дала мне пять *каури*[9], завернутое в пальмовый лист сорго и отправила прочь. Я обещал ей, что уйду, не взяв ничего из принадлежавшего отцу, даже из одежды. И с тех пор по собственному своему выбору я не носил на себе ничего, сделанного человеком, не считая этих браслетов на ногах, иначе как люди известят мою мать, когда я стану трупом?

По второму концу, шею я ему не ломаю, но все равно он ударяется оземь головой, которая трескается и кровоточит. Очухивается папаша придурком. Мать моя дает мне пять каури, сорго, завернутое в банановый лист, и говорит: уходи отсюда, дядья твои куда как хуже него.

Имя мое было отцовой принадлежностью, так что я оставил его у ворот. Одевался отец всегда в прекрасную одежду, шелка из земель, каких он никогда не видывал, сандалии от мужчин, что были должны ему деньги, – все делал, чтобы заставить себя забыть, что он выходец из племени, жившего в речной долине. Я оставил отцовский дом с желанием, чтоб ничто не напоминало мне о нем. Не успел я уйти, как старое воззвало ко мне, и мне захотелось снять с

[9] *Каури* – ракушки морских моллюсков, получившие название в честь богини Каури (символизируют порождающее начало матери-богини). Во многих частях Африки каури использовались в качестве денег или жребия при гадании. Они по сей день ценятся во многих странах мира.

себя все до последнего клочка. И пахнуть, как мужчина, а не духами городских баб да евнухов. Люди глядели на меня с презрением, какое приберегали для обитателей болот. А я буду переть вперед, набычившись, будто призовой зверь. Льву не надобен наряд, не нужен он и кобре. Я направлюсь к племени Ку, откуда был родом мой отец, пусть дороги туда я и не знал.

Третья история.

Меня зовут Следопыт. Когда-то у меня было имя, только я его давно забыл. Следопыт – это мне по ноге и пыль вздымает, понуждая людей забыть меня, так что подойдет. Люди не дожидаются, пока гриоты сложат сказание в стихах, – сами их слагают. В городах и деревнях говорят: вы слыхали про Следопыта? Как-то посреди месяца *waxabajjii* на четвертой луне он отыскал мертвого Короля. Я нашел последнего детеныша жирафа, чернокожего с белыми пятнами, которого украли пираты и продавали тому, кто больше всех даст. Последнего живущего из племени Дар, безымянного мужчину, я отыскал в безбожном городе.

Потом еще был мальчик, чье тело я нашел под домом убившего его брата.

Королева королевства на западе заявила, что хорошо мне заплатит, если я найду ее Короля. Придворные решили, что она умом тронулась, ведь Король был мертв, пять лет назад как утонул, но мне труда не составило отыскать мертвеца. Что делать с мертвым, для меня совсем не загадка. Королевские придворные никогда не видели человека с белыми полосами на руках, груди и ногах, со лбом и носом тоже выбеленными, с двумя топориками и копьем. Я взял задаток и отправился туда, где обитали мертвые утопленники.

Я родом из речного племени. Мы знаем, куда они уходят, где всплывают и куда плывут. Имо – это просто река, но в зеркальном отражении полудня мертвых она – путь в земли мертвых. К Мононо, мертвому городу, где мертвые встают с восходом солнца и занимаются тем же, что и живые. Приходится шагать по реке. Берега заведут вас очень далеко. Река, спокойная минуту назад, в следующую минуту бесится, будто в бурю, но вы должны идти и идти. Шагаете себе и шагаете.

Я шагал себе, пока не подошел к сидевшей на берегу старухе с высокой клюкой.

Ее волосы с боков были белыми, на макушке лысина. Лицо испещрено линиями, как лес тропинками, а желтые зубы говорили о зловонном дыхании. В сказаниях говорится, что каждое утро встает она молодой и прекрасной, днем приятно цветет полным цветом, с наступлением ночи становится старой каргой и в полночь умирает, чтобы в следующий час заново родиться. Горб на ее спине поднимался выше головы, зато глаза сверкали, так что разум ее был остер. Рыбы подплывали прямо к кончику ее клюки, но никогда не заходили дальше.

– Ты зачем пожаловал в эти места? – произнесла старуха.

– Это путь к Мононо, – сказал я. – С чего такой вопрос?

– Я не задавала вопрос. Ты зачем заявился сюда? Ты, живой человек?

– Жизнь есть любовь, а у меня никакой любви не осталось. Любовь исторглась из меня и побежала к реке вроде этой.

– Ты не любовь потерял, а кровь. Я позволю тебе пройти. Но когда я возлегаю с мужчиной, то живу без смерти целых семьдесят лун.

Так что поимел я старую каргу. Она спиной на берегу лежала, а ногами в реке. Сама – кожа да кости, но я был полон сил и не дал ей пощады. Что-то плавало у меня меж ног, похожее на рыбок. Рука ее коснулась моей груди, и полоски мои волнами пошли вокруг моего сердца. Я засаживал ей, поражаясь ее молчанию. В темноте чувствовал, как она молодеет, даром что она старела. Внутри меня расходилось пламя, растекаясь до кончиков пальцев и до моего кончика внутри нее. Воздух сгустился вокруг воды, вода сгустилась вокруг воздуха, и я завопил, исторг и дождем пролился ей на живот, на руки, на груди. Дрожь пять раз ломала меня. Старуха была и оставалась каргой, но я не был внакладе. Она черпанула мой дождь на своей груди и смахнула его в реку. И тут же рыбы метнулись вверх, ушли вглубь и снова метнулись вверх. Это была

ночь, когда тьма съедала луну, но рыбы в самих себе носили свечение. У рыб были головы, руки и груди женщин.

– Иди за ними, – сказала старуха.

Я следовал за ними день, ночь и еще день. Порой речка мелела до того, что вода доходила мне до лодыжек. Иногда поднималась по горло. Вода смыла все белое с моего тела, оставив нетронутым одно лицо. Рыбо-женщины, жено-рыбы день за днем, день за днем вели меня, пока мы не дошли до места, описать какое я не в силах. То ли стояла река стеной, стояла твердо, хотя я и мог просунуть сквозь нее руку, то ли река круто изогнулась вниз, а я все равно мог шагать, касаясь ногами земли, и тело мое стояло, не падая.

Порой единственным путем вперед был путь сквозь. Вот я и шагал сквозь. Я не боялся.

Не могу сказать тебе, останавливался ли я, чтобы подышать, или дышал прямо в воде. Знай себе шагал, а вода вокруг меня играла моими распущенными волосами, полоскала под мышками. Потом я дошел до такого, чего никогда не видел во всех королевствах. В чистом поле травы замок, сложенный из камня высотой в два, три, четыре, пять, шесть этажей. В каждом углу по башне с крышей куполом, тоже из камня. На каждом этаже в камне окна прорезаны, а ниже окон настил с золотым ограждением, который Король называл террасой. А от здания шел коридор, соединявший его с другим зданием, и еще коридор, соединявший с еще одним зданием, так что по квадрату стояло четыре соединенных замка.

Ни один из этих замков не был такой же огромный, как первый, а последний и вовсе в руинах лежал. Когда вода исчезла, оставив в покое камень, траву и небо, я сказать тебе не смогу. Увидел деревья, их прямые линии тянулись насколько хватало глаз, увидел квадратики садов и круги цветочных клумб. Даже у богов не было такого сада. Уже перевалило за полдень, и королевство опустело. Легкий вечерний бриз то вздымался, то стихал, а ветры грубо шастали мимо меня, будто толстяки в спешке. К заходу солнца задвигались мужчины, женщины и звери, то попадаясь на глаза, то исчезая из виду, они появлялись в тенях, исчезали в последних солнечных лучах и появлялись вновь. Шагали мужчины с женщинами и детьми, какие походили на мужчин, женщин и детей. И мужчины, что были голубыми, и женщины, что были зелеными, и дети, что были желтыми, с красными глазами и щелями жабр на шее. И существа с травой вместо волос, и лошади о шести ногах, стайки лесных духов *абада* с ногами зебр, ослиной спиной и носорожьим рогом во лбу бегали опять-таки в окружении детишек.

Желтый карапуз подошел ко мне и спросил:

– Как ты сюда попал?

– Я прошел по реке.

– И Итаки тебе позволила?

– Итаки я не знаю, только старую женщину, что пахнет мхом.

Желтый карапуз сделался красным, глаза его побелели. Явились родители и забрали его. Я встал и по двадцати футам[10] ступеней поднялся в замок, где еще больше мужчин, женщин, детей и зверья смеялись, беседовали, судачили и сплетничали. В конце коридора на стене висели панели с отлитыми в бронзе изображениями войн и воинов, в одном из них я распознал битву среднеземельцев, где было убито четыре тысячи человек, а на другом битву полуслепого Принца, кто всю свою армию повел вниз с утеса, какой по ошибке принял за холм. Внизу стены стоял бронзовый трон, сидевший на нем мужчина казался мелким младенцем.

– Это глаза не богобоязненного человека, – изрек он.

Я понял, что это Король, а то кто ж еще? И сказал:

– Я пришел вернуть тебя обратно к живым.

[10] Около 6,1 метра.

– Слух о тебе, Следопыт, прошел даже по землям мертвых. Только напрасно ты время потратил и жизнью рисковал попусту. Не вижу ни единого повода для возвращения, ни единого основания для себя и ни единого для тебя.

– У меня основания ни для чего нет. Я нахожу то, что люди потеряли, а твоя Королева потеряла тебя.

Король засмеялся.

– Вот мы сейчас в Мононо, ты – единственная живая душа и все же мертвейший из мертвецов при моем дворе.

Хотелось бы, чтоб народ понимал: у меня времени на такие споры нет. Я ни за что не борюсь, и нет ничего, за что я стану сражаться, а потому нечего мне время терять, чтоб драки затевать. Только вскинь кулак – и я сломаю его. Только болтни языком – и я его у тебя изо рта вырежу.

В тронном зале у Короля никакой стражи не было. Так что двинул я к нему, следя за следившей за мной толпой. Король не взволновался и не испугался, лицо его, лишенное всякого выражения, будто говорило: чему быть, того не миновать. В десятке и еще пяти шагах от Короля я остановился. Помнится, никакая стража не обходила ни внутренние, ни внешние покои. Четыре шага вели к основанию, на каком стоял его трон. Два льва у его ног, так я до сих пор не соображу, были ли то духи, божки какие или мертвые. Он же все еще оставался маленьким невзрачным человечком. Круглое личико с двойным подбородком, большие черные глаза, плоский нос с двумя кольцами и тонкогубый рот, словно был он восточных кровей. Он носил золотую корону поверх белого платка, скрывавшего волосы, белый халат с серебристыми птицами и поверх халата пурпурный нагрудник, тоже обшитый золотом. Я мог бы взять его одной левой.

Никто не остановил меня, пока я шагал прямо к трону. Львы не шелохнулись. Я тронул медный подлокотник, отлитый в виде поднятой львиной лапы, и надо мной раздалось хлопанье сильных крыльев, тяжкое, неспешное, черное по звуку и оставлявшее гнилостный запах ветра. Вверху, на потолке, – ничего. Я еще вверх глазел, как Король вытащил из ножен кинжал и вонзил в мою ладонь так крепко, что лезвие вошло в подлокотник и застряло.

Я вскрикнул, он же рассмеялся и откинулся в глубь своего трона.

– Ты, может, полагал, что потусторонний мир чтит свое обетованье быть землей, свободной от боли и страданий, только обещано это было мертвым, – произнес он.

Никто не рассмеялся вместе с ним, но все – пялились.

Король сидел себе, разглядывал меня, выгнув бровь и поглаживая подбородок, а я, ухватившись за кинжал, вырывал его, рывок заставил меня вскрикнуть. Король прыгнул, когда я оборотился к нему, только я ухватил его за халат и, пустив в ход кинжал, вырвал из него кусок ткани. Король все еще смеялся, пока я себе руку перевязывал.

Король обманулся, как обманываются и все остальные. Ошибочно принял меня за правшу. Я врезал ему прямым в лицо, и только тогда толпу колыхнул ропот. Я услышал позади гибельные шаги, приближавшиеся к трону, и обернулся. Толпа встала. Во всем зале всего один человек должен был испытывать страх смерти, и все ж они боялись меня.

Нет, они сдерживались. На их лицах ничего: ни страха, ни гнева – чистый интерес.

И тут толпа – все как один – отпрыгнула, взирая мимо меня на Короля. Обернувшись, я увидел, что он стоит, в руке львиная лапа, вобравшая добрую толику моей крови. Король зашвырнул лапу в воздух под самый потолок, и толпа охнула. Едва лапа ударилась оземь, придворные подались назад, кое-кто сзади пустился бежать. Кто-то в толпе кричал, но крикам вторило эхо, кто-то вопил, но вопли стихали на востоке и вновь поднимались на западе. Мужчина бежал по женщине, бегущей по ребенку. Король смеялся.

Я только и слышал вокруг: Омо, Омо, Омо. Потом треск, потом разрыв, потом пролом, будто бог какой крышу срывал. «Омолузу», – произнес кто-то. Омолузу. Крышеходцы, ночные демоны из века за век до нашего.

Я понял, что сделал Король, даром что не видел этого.

– Они попробовали твоей крови, Следопыт. Омолузу никогда не перестанут преследовать тебя.

Я схватил его руку и располосовал ее. Он заорал во всю глотку, как речная девица, меж тем потолок сдвинулся, заскрипел, затрещал, запыхал, но оставался на месте. Я его рукой прикрывал свою, а он в это время шлепал меня ладошками и пинал, как маленький мальчишка, пытаясь вырваться, я же собрал его кровь. Первая фигура отлепилась от потолка, когда я швырнул его королевскую кровь в воздух.

– Теперь обе наши судьбы на крови замешены, – сказал я.

Улыбка его испарилась, уступив место страху. Ужасу. Челюсть у Короля отвисла, глаза выкатились. Я схватил его руку и потащил его за собой вниз по ступеням, когда от потолка, от тьмы, отлепились еще три фигуры, погружая все вокруг во мрак. Я встал посмотреть. Король рванул бегом прочь, визжа. Мужчины, черные телом, черные с лица, черные там, где глазам полагалось бы быть, отлеплялись от потолка, будто из ям выбирались. И когда вставали во весь рост, то стояли на потолке, в точности как мы на земле стоим. От омолузу исходили лезвия света, острые, как мечи, и дымящиеся, как горящий уголь.

Они набросились. Я побежал, слыша, как отскакивают они от потолка. Подпрыгнув, крышеходец не падал на пол, а вновь приземлялся на потолок, будто бы это я стоял вверх ногами. Я бежал во внешний дворик, но двое опередили меня. Спрыгнув вниз, они взмахнули своими мечами, двумя разом. Копье защитило меня от обоих ударов, но сила их сбила меня с ног. Один напал на меня, искусно орудуя мечом. Я качнулся влево, ушел от его клинка и вонзил копье прямо ему в грудь. Копье продвигалось по чуть-чуть, будто смолу пронизывало. Он отпрыгнул, утащив с собой мое копье. Я вытащил меч. Двое сзади схватили меня за лодыжки и протащили меня до потолка, где ночным морем кружила в водоворотах тьма. Я располосовал мечом черноту, обрубил им конечности и, как кошка, приземлился на пол. Еще один попытался схватить меня за руку, но я схватил его и притянул к земле, где он исчез струйкой дыма. Один подобрался ко мне сзади, я уклонился, но его клинок поймал мое ухо, и оно горело. Обернувшись, я отбил его клинок своим, и искры посыпались в темноте. Он отпрянул. Руки и ноги у меня заходили, как у мастера нголо. Я перекатывался и кувыркался, рука за ногу и за руку, пока не отыскал свое копье возле внешних покоев. Горело множество факелов. Я бросился к первому же и погрузил кончик копья в воск и пламя. Двое оказались прямо надо мной. Я слышал, как изготовили они свои клинки, чтобы разрубить меня надвое. Только я подпрыгнул с горящим копьем и проткнул их обоих. Оба вспыхнули пламенем, которое разбежалось по потолку. Омолузу рассеялись.

Я пронесся через внутренний покой, вниз по коридору и выскочил через дверь, где шаги прекратились. Снаружи луна из моего мира лила слабый свет на этот мир, вроде как свет через стекло сочился. Маленький толстяк-Король далеко не уходил. Он даже не бежал.

– Омолузу появляются там, где есть крыша. Ходить прямо по небу они не могут, – сказал он.

– Как же жене твоей эта сказка понравится!

– Да что ты знаешь про любовь, какую кто-то испытывает к кому-то?

– Давай двигай.

Я схватил его за руку и потащил за собой, только там еще проход был, шагов в пятьдесят. Мы оба остановились. Сделали пять шагов – потолок стал крошиться на куски. Тогда мы побежали. Еще одиннадцать шагов – и они уже бежали по потолку так же быстро, как мы по земле, и маленький толстяк-Король стал от меня отставать. Десяток и еще пяток шагов – и я ушел

от удара клинка, ринувшегося смахнуть мне голову и смахнувшего корону с головы Короля. Счет шагам я потерял после десятка и еще пяти. Одолев половину прохода, я схватил факел и швырнул его в потолок. Один из крышеходцев загорелся и упал, но исчез дымком, даже не долетев до земли. Мы опять бросились наружу.

Вдалеке стояли ворота с каменной аркой, ширина которой никак не позволяла появиться омолузу. Однако, когда мы под ней пробегали, двое спрыгнули с потолка, и один из них располосовал мне спину. Где-то между пробежкой к реке и проходом сквозь стену воды я потерял обе свои раны и память о том, где они были. Я ощупывал кожу, шлепал по ней, уверенный, что вскрою порезы. Потом тер свои глаза, пока они гореть не стали. Только не было на коже моей никаких отметин.

Заметьте, обратное путешествие в его королевство длилось куда дольше, чем путешествие в его земли мертвых. Немало дней прошло, прежде чем мы встретили Итаки на речном берегу, только была она не старухой, а всего лишь маленькой девочкой, плескавшейся в воде и смотревшей на меня с лукавством женщины, вчетверо ее старше. Когда Королева встретила своего Короля, она принялась ругаться, оскорбляла и била его так крепко, что я понял: каких-нибудь несколько дней – и он снова утопится.

Знаю, что за мысль у тебя сейчас промелькнула. Вроде как дух тебе в голову вселился и оставил след смятения на твоем челе. Ты не можешь даже помешать бровям выгибаться над твоим глазом, чем выдаешь себя. Этот Король повинен во многих преступлениях, был он трусом и убийцей, продавал рабов дьяволам, но он не был лжецом. Любезный Жрец, постарайся не позволять волнению связывать тебе язык, не надо так старательно не поднимать взгляда. Я мог бы прямо сейчас крикнуть омолузу, и ты рванул бы в дверь, не позаботясь открыть ее, обделываясь, писаясь и криком крича разом. Король в этом сказании не говорил, что крышеходцы станут преследовать меня всю мою жизнь. И все сказания правдивы.

А, да, полагаю, в одном мы оба можем согласиться.

Над нами – крыша.

Два

Теперь поговорим о городе Джубе. Севернее его только Фасиси, да и тот не город вовсе. Так, ничего особенного: дома да лавки, богатеи да попрошайки, грязь, дерево да камень, и все это превращается в ничто, поглощаемое Песочным морем. Но в Фасиси живет Король, как и его жены и его враги, так что, само собой, городок великолепен. Свихнувшийся монах невесть какого ордена как-то назвал Джубу местом, найденным девятьсот лет тому назад девятью десятками ведьм, что навертели чар, донесших разговоры о городе до стен каждого дома и до булыжных мостовых каждой улицы. Стоит путешественнику убраться отсюда, как из памяти его напрочь вылетают и вонь дорог, и тяжесть золота, и одуряющий запах женских духов.

Город овевает теплом ветер с Песочного моря. Люди свободные приезжают выпить, отдохнуть и с бабьем оттянуться, тогда как рабы проходят десятками, сотнями и десятками сотен через суетливые днем рынки человечьей плоти. Только город и ночью не спит. И никто не говорит с богами.

Пустыня на севере, река на юге и лес на востоке. Вы и не станете хранить в памяти свое посещение, ведь наши мошенницы замешивают зелье, чтобы обобрать вас дочиста. Джуба, он красный, толстый и плоский, с дорогами, ведущими к дорогам, и светом сотен светляков, которые оказываются свечением ламп за стеклами окон.

Позвольте мне рассказать про наши стены, грязь и башни-мортиры, чьи жерла наставлены в небо, с рядом окон поверх другого ряда окон, поверх другого ряда окон. Некоторые башни возносятся на высоту сотни человек, стоящих друг у друга на плечах. Гриоты повествуют о временах до времени, когда мужчины и женщины выстроили стены, чтобы отвадить

совершавших набеги воителей и тогдашних зверей, ни один из каких не живет в нынешнем веке. Наши улицы проложены так, чтоб вы непременно заблудились. По-моему, человека вроде тебя это не расстроило бы.

В некоторых домах живет по несколько семей, у каждой по этажу: похоже на постоялый двор, из какого никто не уезжает.

На выходе из Восточных ворот есть мост, у него было название, но никто не удосужился его выучить. Теперь это «Мост с названием, какого даже старики не помнят». Однодневки-всадники с копьями в развевающихся красных одеждах, в черных латах и с золотыми коронами, утыканные пышными перьями, усаживаются на коней, одетых в такие же красные наряды с королевскими масками поверх голов, и отбывают на рассвете, чтобы вернуться в сумерках, когда Восточные ворота закрывают. Как раз там-то, по словам моей матери, я и родился, а кто я такой, чтоб сомневаться в словах своей матери? Мы жили в квартале мастеров – обработчиков металлов, хотя отец мой и топора-то в руках отродясь не держал. Помню, комнату он держал взаперти, а ключ носил на шее. Даже моя мать не знала, что у него там. У него была библиотека. Тексты святых матушек и батюшек про то, как они создавали, а потом потеряли девять земель. Кипы свитков о хождениях Абатулы за Песочное море и увиденных им чудищах. Налоговые записи семи умерших дворян и книга о речном колдовстве.

Я постиг две вещи. Книги эти были копиями (некоторые – в седьмом поколении), что означало: отец считал, что обманул обманщика. А еще, учитывая, как часто он клял ведьм за все: от засухи, губившей его маленькую ферму, до упадка в нем мужской силы в некоторые из ночей, – он никогда бы не хранил книгу о колдовстве. Если б читать умел. Где-то какой-нибудь книжный делец, пробавляющийся поддельными текстами, до сей поры смеется над балбесом, решившим, что он взял верх в сделке. Я отцу никогда не пенял, даже тогда, когда он хватал одну из своих драгоценных книг и читал ее перевернутой низом вверх.

Меня зовут Следопыт. Когда-то у меня было имя, только я забыл его давным-давно. Ни одному животному нет нужды называть свое собственное имя, ни обезьяне, ни гиене. Единственный, кому есть нужда в имени, – это человек, кто по прозвищу станет отличать меня от других, и я зовусь Следопытом. Отец мой дал мне имя, какое отличалось от того, что дала мне мать. Я не помню ни того, ни другого, только то, как они меня звали. Он звал меня – как команду давал. Звал меня упертым, как собачье дерьмо у него меж пальцев ног. Когда я уходил, то выплюнул свое имя на землю у его ворот. Материнское имя было для меня сладостной тайной, чем-то, что для папаши моего звучало лишь бабьей чушью. Обращалась она ко мне всегда шепотом – понежнее, когда обещала, построже, когда предупреждала насчет отца. Я обожал эту сладостность, пока и она не стала мне ненавистной. Незадолго до того, как ты мужчиной станешь, осознаешь, что дитя в голове твоей матери не только не похож на того, что в башке у папаши сидит, но этого дитяти и в тебе нет.

Так что свернул я папаше шею и ушел из дому. Как уже говорил, я не оглядывался: я собственное имя выплюнул у его ворот. Я направлялся в Ку, в деревню, отыскивать то, что отец потерял. Деревня дала мне то, чего он никогда мне не давал, даром что я знать не знаю, что оно было такое. Вот тебе правда. На самом деле не думаю я, что свернул ему шею. Людям, посылающим меня на опасное дело, желательно видеть опасность во мне. Иди спроси их, почему. Но я точно ушел. Голос какой-то, может быть, бесовский, велел: беги, – и я побежал.

Мимо домов, постоялых дворов и приютов для усталых путников за стенами из глины и камня высотой в три человеческих роста. Розоватое оконное стекло поблескивало светом ламп. Я пробежал мимо какой-то таверны, где мужчины болтали, хохотали и щупали буфетчиц, и остановился. Тут недавно отец мой сидел, я чуял запах его подмышек. Чуть поодаль два мужика приваливали третьего к стене, но все трое того и гляди свалиться готовы.

Я поворотил назад. Улица выходила на улицу, и переулок заходил в переулок, а музыка, пьянка и драки втягивались в драки, пьянку и музыку. Я повернул направо, в улочку поменьше,

и на бегу наскочил на верблюдицу. Та вздыбилась, хозяин ее ругнулся и хлыстом махнул. Торговки закрывали свои лавки и убирали лотки, запирая вместе с ними ароматы и добродушие. Мужчины толкали маленькие тележки, ослики тянули большие телеги. Мимо шли мужчины в обнимку с мужчинами, женщины несли корзины на головах, старики сидели в дверях, пережидая ночь, как уже пережили день.

Я миновал клетку с курами, устроившими переполох. Настала глубокая ночь, прежде чем я понял, что все дороги ведут меня к центру города. Отец мой говаривал, что грабитель отнимет у тебя даже то ничего, что у тебя с собой. А работорговцы продадут твое юное тело людям за Песочным морем. Еще отец ненавидел разбрасываться денежками и предпочитал пугать меня до смерти, заставляя сидеть дома, чем нанять домработницу. Я, однако, заплутал, а дом был единственным местом, какое я знал. Так что побежал я обратно, но снизил прыть до ходьбы, когда это место стало видно. Я не останавливался. Чья-то тень мелькала в свете лампы. Моя мать. Мальчиковая школа, где я постиг арифметику и миры за солнцем, скользнула мимо меня в ночи. Я миновал дом со ступеньками сбоку, ведущими к другому дому со ступеньками сбоку, ведущими к другому дому, и опять почти заблудился. Что такое путь по жизни без возврата?

Слишком тяжко. Мысли слишком тяжкие. Я бежал от мыслей. И налетел на другого мужчину, только этот ругаться не стал. Широко улыбнулся ртом, полным золотых зубов. «Ты мил, как девочка», – произнес он, что заставило меня остановиться, вглядеться, подумать и побежать. Я пытался выбраться к Восточным воротам. Рядом проходил акведук, я бежал вдоль него и думал о школе, о том, как в начале следующего сухого сезона мне уже срок придет поступать во дворец мудрости, постигать науку небес и искусство чисел. От этого каждый шаг мой был тяжек и ногам стало больно. Северные ворота вели к реке. Восточные ворота вели к лесу, и я должен был добраться до них до того, как стража закроет их на ночь.

Увидев ворота, я решил было повернуть обратно. Мне навстречу скакали семь всадников, и ветер волком выл. Перебранок за день хватило, лошади их галопом проскакали мимо меня, оставив облако пыли. Тут стражники принялись закрывать ворота, и я выбежал из них, пустившись по «Мосту с названием, какого даже старики не помнят». Ни стража, ни всадники не заметили. Если захотелось мне сбежать и примкнуть к грабителям, убийцам и нищим, к какому угодно из порождений ночи, то это было мое дело.

Через каждые триста шагов я срывал с себя по одежке. Из леса выбежал, прежде чем понял это, пробежав до половины тропы. Убийство или колотушка: сбрасывая с себя одежду, я отбросил и осторожность.

Я шагал по открытым землям, что простирались на манер Песочного моря. В ту ночь я миновал мертвый город с обваливающимися стенами. В пустой хижине, где я спал, не было двери и было всего одно окошко. За хижиной высилась гора из камней множества домов. Еды никакой, вода в кувшинах отдавала тухлятиной. Сон пришел ко мне на полу под звуки рушившихся по всему городу глиняных стен.

Давай поговорим о мертвом мальце.

Нет?

А я думал, ты за историей пришел. Думал, ты получишь ее, а не отказ. Правду сказать, промедление со сказанием будет оставлять мальца не таким мертвым.

Рассказывать тебе о себе и выражаться попросту?

Каким я вижу себя?

Я из племени, где знать не знали бы, как ответить на такой вопрос. Глянь на ваших женщин, кто груди свои прикрывают, на мужчин ваших, что ноги обувают и тканью свои бедра оборачивают, так что желание прячется, словно боль или пот. Желание, хотение, похоть – это просто то, как по-своему боги действуют с нами и в нас. Если мое желание – это и твое желание, тогда разум и тело должны быть обнажены. Как груди, ты говоришь. Да, как груди, только стоит

ли мне говорить, что у тебя детское представление о грудях – я этим детей обижу. У тебя о грудях идиотское представление, а может, и такое, что свойственно человеку невежественному.

Ладно, вернусь к себе. У моего племени нет себя, у моего племени нет меня. Наши реки темны от грязи, вода наша не показывает нам, что лежит на дне кувшина.

Мой глаз.

Ты не суетись. Двух дней еще не прошло, как я заметил, как ты разглядываешь его, в сторону глядишь, будто и не пялишься, или, встретившись с ним, вид делаешь, будто тебе все равно. Ты рот открыл, в первый раз увидев, как он моргнул. Ох, будь это рот, он бы тебе историй понарассказывал, Инквизитор. Пиши, что видишь, тебе незачем разъяснять мне это. Пусть будет колдовство, пусть будет белая ученость, пусть что угодно будет, что тебе на ум взбредет.

Наряда на мне нет. И нет у меня облика. Лицо мое – это то, что я ощущаю. Лоб высокий и округлый, как и вся остальная моя голова. Брови нависают над глазами так низко, что те в тени скрыты. Нос с уклоном, как у горы. Губы ощущаю толстыми в палец, когда тру их красной или желтой пылью. Один глаз, тот, что мой, и еще один, что не мой. Башка крепкая, какой под силу вынести убор из волос с двумя бычьими рогами. Уши себе я сам проколол, думая над тем, как это папаша мой носит тюрбан, пряча свои. Только облика у меня никакого нет. Есть то, что люди видят. Не мое оно, то «я», какое ты видишь, а твое. Ты владеешь обликом десятков тысяч, но только не своим собственным лицом. Что ты видишь, это искажение и изнанка тебя самого, какую ты принял за себя истинного. Я вижу истинного тебя, а ты самого себя не видел ни разу, только у всех мужчин так. Ты б удивился, узнав, какую кучу времени убивает мужчина, безо всякой нужды раздумывая о Вселенной. Тут, в этом каземате, я думаю о мире сем и о мире духов, о девяти небесных сферах и о мире за пределами мерзости, о том, откуда пошли добро и зло, и никогда – о мальце.

Через десять дней после того, как я ушел из отцова дома, я пришел в одну долину, та сильно поросла кустарником, все еще мокрым от дождя, что шел в прошлую луну. У деревьев листья темнее моей кожи. Почва там держала тебя всего на десятке шагов, чтобы поглотить на следующем шаге. Почва, что была не почвой, а скопищем осклизлых змей, кобр и гадюк. Я был дураком. Думал, постигну старый отцовский образ жизни, просто забыв про его нынешний. Шагал через буш и убеждал себя, что, хотя всякий звук внове, ничто не вызывало страха. То дерево меня не предало, когда я попробовал спрятаться. Тот жар у меня под шеей не был лихорадкой. Те лианы не пытались окрутить мне шею и удавить до смерти. И голод, голод и опять голод, и то, что сходит за голод. Боль, что бьется в животе изнутри, пока не устает бить. Ищешь ягоды, ищешь кору молодых деревьев, ищешь змей, ищешь то, что едят змеи. И не находишь ничего, потому как первые ягоды горькие, а у вторых вкуса нет, но потом пролежал я денек у родника, когда живот меня с ног свалил, в голове саднило, будто по ней дубинками колотили, и поносил я, не переставая. Больше безумия. Я пытал счастья в грязи. Пытался сквозь густой кустарник преследовать змей, что преследовали крыс. Было ощущение, будто что-то большое преследует меня. Отец никогда не говорил мне, что даже жить по старинке ему приходилось учиться. Я думал, как и ты сейчас, что у мужчин из долины нет никаких искусств, никаким ремеслом они не владеют, что язык им дан, только чтобы балаболить, что в разуме их нет ничего, чего в нем уже не было от рождения. Я взобрался на скалу, и мокрые листья хлестнули меня по лицу. Вот и все, что помню о той прогулке.

Следующим, что застряло в памяти, стало мое пробуждение в хижине, холодной, как река. Внутри огонь горел, только жар был во мне.

– Бегемот в воде невидим, – произнес голос.

То ли в хижине было темно, то ли я ослеп, не знаю.

– *Ye warenwupsiyengve*. Почему ты не внял предостережению? – прозвучало.

В хижине все еще стояла темень, но глаза мои увидели чуть больше.

– Гадюка не вступает в ссору ни с кем, даже с придурками. *Оба Олушере*, невозмутимая или ласковая змея, самая опасная.

Мой нюх повел меня в лес. Когда у грязи, у кустарника, у змеи, у птицы, у дерева, у цветка, у воды на листьях и воды на земле – у всего есть свой запах и каждый запах оставляет во мне свою собственную память, то голова раскалывается от попыток проследить их всех. Сказать правду, пробегая через лес, я умом тронулся. Язык уже даже для ругани не ворочался после лазания через все валуны и повалившиеся деревья, после купания в болотах и пробежек по потрескавшейся почве, разбитой в пыль. В самой чаще я был до того потерян, что кричал, плакал, вопил и завывал. Потом шипел, каркал, цвик-цвикал, ла-ла-лакал. Для джунглей нет слов, до сей поры ни одного нет. Ни одна змея мне на глаза не попалась. За две ночи до того, когда он отыскал меня, дрожавшего, под плачущим деревом, он был настолько уверен, что я уже не жилец, что начал ямку копать. Но потом я всю ночь выкашливал какую-то зеленую жижу. И вот лежу на циновке в хижине, где стоит запах фиалки, засохшего буша и горящего навоза.

– Ответь мне, положа руку на сердце: что ты делаешь в чаще буша?

Хотелось рассказать ему, что забрался сюда в поисках себя самого, только то были бы слова идиота. Или похожие на те, какие отец болтал, только тогда я все еще считал, что можно себя потерять, не понимая, что ни у кого никакого себя и не бывает. Но об этом я уже говорил раньше. Так что не сказал я ничего и уповал на то, что глаза мои смогут высказаться. Даже в темноте я различал, как цепко впился он в меня своим взглядом. В меня и в мои дикие представления о буше, где люди бегают вместе со львами, едят с одной земли и гадят у одного деревца, и нет меж ними никакой хитрости. Он вышел из темного угла и шлепнул меня.

– Единственный для меня способ залезть тебе в голову – это расколоть ее и посмотреть, или сам выскажись.

– Я думал…

– Ты считал, что люди в буше и у реки только рыкают или гавкают, как собаки. Что мы, погадивши, задницу себе не подтираем. Может, по коже размазываем. Я говорю с тобой как человек.

Этот человек измывался надо мной всю ночь, над моими медлительными руками, медлительным соображением и над тягучей слюной, сочащейся из моей затянутой речи. Я ничуть не обижался. Всю ночь он потратил на то, чтобы вымести все это из моей башки. Все это умозрительное бытие. Теперь мужчины и женщины на ваших улицах при моем приближении (а я несу на себе лишь ножные браслеты да грязь, ну, еще повязку на бедрах, когда пожелаю, а когда нет, то и ничего) считают, должно быть, что во мне зверское сознание или что я с деревьями перешептываюсь.

Ты человек, собирающий и хранящий слова. Ты и мои собираешь. Ты слагаешь песни про прохладное утро, песни про полдень мертвых, песни про войну. Только заходящему солнцу не нужны твои вирши, не нужны они и бегущему гепарду.

Этот мудрый человек жил не в селении, а возле реки. Белые волосы – от пепла и молочных сливок. Он жил один в хижине, какую соорудил вокруг себя, с крышей из сырых веток деревьев и кустарника и прочными неровными стенами. Он тер стены черной скальной пылью, пока они не заблестели. Рисовал узоры и картины, на одной изобразил белое существо с руками и ногами высокими, как деревья. Я ничего похожего никогда не видел.

– И хорошо, что случилось, ведь, не выживи ты, ты бы мне этого не рассказал, – выговорил он.

Мне было любопытно, кто вырезал ему узор на груди так, что все рубцы подходили идеально. В единственный раз, когда я видел своего отца раздетым, разглядел я кругленькие шрамики на его спине, словно звездочки в кружок. У отца были друзья и женщина. А этот человек жил один, так кто ему ранки резал, кожу бритвой полосовал и пепел в ранку втирал, так что на

груди его целое созвездие получилось? Может, сделал он это своею собственной рукой. Ведь ни рядом, ни вдалеке я не улавливал никакого запаха женщины. Ему не приходилось бывать в их компании, признался он мне как-то.

Приходилось ли мне?

Ну и вопросики ты задаешь, Жрец. Инквизитор.

Я уснул, проснулся, уснул, проснулся и увидел громадного белого питона, обернувшегося вокруг ствола, проснулся и увидел змею, малоразличимую на фоне стены, я уснул и вновь проснулся. На третий раз попытался подняться и пал на колени. Колдун рассмеялся, впрочем, это могло мне лишь показаться. Солнечный свет проник в комнату, высветил стены, и я увидел, что мы в пещере. Стены черные, белые, бурые и красные, походили они на свечной воск, таявший на свечном воске. В сумраке части стены смотрелись как вопящие лица, или слоновьи ноги, или щелка меж ног молоденькой девушки.

Стена, когда я ее потер, под рукой ощущалась не скалой, а скорее кожурой батата.

Возле входа в пещеру она была мягкой от кустиков, торчавших распущенными волосиками. Я встал и на этот раз не упал. Шатался из стороны в сторону, как человек, насквозь пропитанный пальмовой водкой, однако вышел наружу. Снаружи споткнулся и прижался для равновесия к скале, но то оказалась не скала. Ничего похожего на камень. Кора дерева. Только слишком уж широкого и большого. Я смотрел в высоту, как только мог, и прошагал так далеко, как только мог прошагать. Мало того что солнце все так же скрывалось за ветвями и листьями, но и стволу, казалось, конца не было. К тому времени, когда я обошел вокруг дерева, успел позабыть, где было начало. Кора казалась грубой из-за прорезей и вздутий, но была нежна на ощупь. Я отступил от ствола подальше и продолжил обход, пока не сбился со счета шагов. Словно боги небесные взяли у великанов батат и сбросили его на землю, где он повсюду пробился новыми ростками. Батат размером больше замка. Ничего похожего я в жизни не видел. Отшагал сто пятьдесят шагов и все равно не смог обойти ствол кругом. Шире всего он раздавался в середине, и я не переставал думать про великанов: колдовство заставило дерево растолстеть.

Лишь на самом верху росли ветки, кряжистые, как пальцы младенца, и торчавшие из паутины веточек и листьев. Листочки маленькие, толстые, как кожа, и плоды размером с твою голову.

– Обезьянье хлебное дерево, баобаб, было самым прекрасным в саванне, – произнес колдун у меня за спиной. – Это было после второго сошествия богов. И обезьянье хлебное дерево знало, что оно прелестно. Оно потребовало, чтобы все песнопевцы воспевали в песнях его красоту. Оно и сестра его прекраснее богов, прекраснее даже, чем Бикили-Лилис, чьи волосы стали сотней ветров. Такое случается. Боги дали волю неистовству. Они сошли на землю, вырвали все баобабы до единого и воткнули их обратно вниз верхушками. Пять сотен веков понадобилось, чтобы корни проросли листьями, и еще пять сотен, чтобы появились на них цветы и плоды. Любую старуху спроси, и она тебе именно так расскажет.

– Люди в каждом дереве живут?

– Те, кто живет, да.

– Не понимаю.

– Да, не понимаешь.

За одну луну у дерева побывали все жители селения. Я видел, как смотрели они на колдуна, прячась за ветвями и листьями. Женщины с тыквами на головах останавливались осмотреться. Одна-две или три собрались было подойти поближе, но передумали и удалились. Случались вечера, когда я сидел в окружении подобравшихся поближе детишек; стоило мне рыкнуть, как они убегали, громко крича. Две ночи я слышал топотанье маленьких ножек вверх и вниз по дереву, пока над входом в пещеру не просунулись две свисавшие головы. Павианиха

и ее детеныш. Павианы в обезьяньем дереве. Я рассмеялся. Утром пришли слониха со слоненком и жевали что-то у ствола.

Раз пришли из селения трое крепких мужчин. Все – высокие, широкие в плечах, подобранные там, где толстяки пузца носят, с ногами сильными, как у быков. Первый мужчина с головы до пальцев ног облачился в пепел, белый, как луна. Второй пометил свое тело белыми полосами, как зебра. У третьего не было никакой раскраски, одна темная и роскошная кожа. Они носили ожерелья на шеях и цепи на талиях, не нуждавшихся больше ни в каких украшениях. Я не знал, за чем они пришли, но понимал: им я это отдам.

– Мы много раз следили за тобой в буше, – сказал полосатый. – Ты взбирался на деревья и охотился. Ни навыков, ни умения, но, может, боги толкают тебя. Сколько тебе, если в лунах?

– Мой отец никогда не считал лун.

– Это дерево сожрало трех девственниц. Цельем их заглонуло. Ночью слышно, как они вопят, только доносится лишь шепот. Ты думаешь, что это ветер.

Некоторое время он пялился на меня, потом все трое рассмеялись.

– Ты пойдешь с нами на Зареба, на ритуал становления мужчиной, – сказал полосатый. Он указал на луносветлого: – Змея убила его напарника как раз перед дождями. Ты пойдешь с ним.

Я не сказал, что был спасен от змеиного укуса.

– Встретимся на следующем восходе солнца. Тебе следует знать, как жить воинам, а не сученышам, – произнес луносветлый.

Я согласно кивнул. Он смотрел на меня дольше других. Кто-то вырезал ему звезду на груди. По кольцу в каждом ухе, которые, я понял, он проколол себе сам. Был он по меньшей мере на голову выше двух других, но я это только тогда и заметил.

– Ты пойдешь со мной, – услышал я, как он сказал, хотя я и не слышал, как он это произнес.

Об этом и предупреждал меня человек в моей хижине, мол, думающий человек не станет тратить время и говорить без языка, когда язык является его правом. Я так счел, будто снова могу читать слова по глазам. Только человек в моей хижине был стар, как карга, даром что тело имел молодое.

Я понял: я пойду с этим луносветлым на ритуал становления мужчиной. Я не спрашивал, что оно такое, эта Зареба. Позже, глубокой ночью, луносветлый опять пришел. Я не спал. Скажу тебе, Инквизитор, немного почерпнешь ты из этого сказания, если станешь настаивать, чтоб было оно обо мне.

Рассказать тебе, что произошло, когда луносветлый малый вернулся? Тебе не любопытно, где был тот колдун из хижины? Что происходило, когда мальчик дошел до того, что каждый миг думал: вот это должно со мной происходить? На Зареба, ритуалах по становлению мужчиной, женщины не присутствуют. Только ты все равно должен помнить об их назначении для мужчины. Зареба у тебя в уме: Зареба, она там, в буше. Переход занял от восхода солнца до полудня. Прибываешь в Зал Героев с глинобитными стенами и тростниковой крышей. С палками и площадками для поединков. Ребята входят поучиться у всех сильнейших бойцов со всех селений и всех гор. Уходят они мужчинами. Когда солнце луч ниспошлет, ты ж понимаешь. Покрываешь себя пеплом, так, чтобы ночью ты выглядел будто с луны сошедшим. Ешь сорговую кашу. Ты убиваешь того мальчика, какой ты есть, чтобы стать мужчиной, каков ты есть, только иногда так и остаешься мертвым. Эти две мысли вместе не уживаются. Колдун из хижины говорил, что нет в человеке прирожденного знания, что все должно постигаться. Я спросил луносветлого малого, как постигать женщин, если женщин, от кого постигать, нет.

Малый повел меня в буш. Нагнул меня, и я обхватил дерево. Он зажал мне рот. Пока рука его зажимала мою первую дыру, он показал, зачем сдалась мне вторая дыра. Это ведь

тоже способ, каким мужчины действуют, ведь так, Жрец? Инквизитор? Етить всех богов, буду звать тебя Инквизитором. Дальше будешь слушать?

Кое-кто из сельчан видел меня днями раньше, но держались в сторонке, потому как я был одним из тех, кому умереть уготовано было, а воля духов, она воля духов и есть. Многие проходили мимо хижины, только я заметил бы, если б приблизился какой-то мой родич, и как-то утром я уловил запах одного, шедшего за мной к реке. Парня, кому показалось, что я сын его дяди. Я охотился за рыбой.

Он подошел к берегу и приветствовал меня так, будто мы знакомы были, а потом увидел, что знать меня не знает. Я никак не ответил. Мать его, должно быть, рассказывала ему про Абарра, демона, подбирающегося к тебе под видом знакомца, все в нем похоже, только языка нет. Парень не побежал, только неспешно пошел прочь от берега и сел на скалу. Наблюдал за мной. Ему всего лет восемь-девять было, от уха до уха по лицу, через нос, шла черта, сделанная белой глиной, а по всей груди были рассыпаны, как у леопарда, белые пятнышки. Я был мальчиком из города и в охоте на рыбу удачи не знал. Я погружал руки в воду и ждал. Рыба заплывала мне прямо в руки, но всякий раз выскальзывала, когда я пытался ее схватить. Я ждал, он наблюдал. Ухватил я большую рыбину, но она изогнулась, напугала меня, и я, пошатнувшись, упал в реку. Парнишка рассмеялся. Я глянул на него и тоже засмеялся, но тут из леса донесся запах, приближаясь все ближе и ближе. Я чуял его: охра, масло из семян ши, вонючие подмышки, грудное молоко (а им и парнишка пах). Мы оба поняли, что кого-то ветром к нам несет, только он знал кого.

Она вышла из деревьев, словно из деревьев и проросла. Высокорослая, пожилая женщина с лицом, уже прорезанным морщинами и неприветливым, правая грудь у нее еще не истощилась. Левую же она обернула в ткань, переброшенную через плечо. Голова ее была обвязана красно-зелено-желтой лентой. Ожерелья всех цветов, кроме голубого, громоздились одно поверх другого, и поверх другого, и поверх третьего – по всей ее шее до самого подбородка. Юбка из козьей шкуры отделана каури по животу, тучному от ребенка. Она глянула на паренька и указала себе за спину. Потом посмотрела на меня и сделала тот же самый знак.

Поутру, когда солнце еще ленилось, колдун, будя, хлопнул меня по щеке, потом вышел из хижины, ничего не сказав. Рядом со мной он положил копье, сандалии и ткань для набедренной повязки. Я быстро встал и последовал за ним. По пути в селение мы прошли мимо высокого дерева, с какого облетели почти все листья. Вверху на ветках пятеро ребятишек сидели, стояли и висели – все мальчики с отметинами белой и красной глиной на лице и груди. Один увидел меня и быстро шепнул что-то остальным, которые тут же затихли. Шепнувший пристроился на ветке, словно большая кошка. Все, не переставая, глазели, пока мы проходили под деревом, а когда прошли, то взгляды их следовали за мной.

Внизу по реке хижинами, раскиданными по полю, открылось селение. Первыми мы миновали холмы из сухой травы с верхушкой, похожей на сосок. Затем прошли округлые красно-бурые хижины из глины и грунта с крышами из тростника и кустарника. В центре хижины пошли побольше. Округлые, они кучно стояли двором из пяти-шести хижин, отчего смотрелись замками – со стенами, что соединяли их все, будто поясняя: все это – для одного человека. Чем больше жилища, тем больше блеска на стенах: там жили те, кто мог себе позволить тереть стены черным сланцевым камнем. Но большинство хижин были небольшими. Лишь человек со множеством коров мог позволить себе еще и амбар для зерна и еще постройку для готовки еды из него.

У владельца самого большого двора было шесть жен и двадцать детей (среди них ни одного мальчика). Он приискивал себе седьмую жену, которая принесла бы ему, наконец, сына. Два мальчишки и девочка, голые, безо всякой раскраски, следовали за нами с колдуном, пока какая-то женщина грубо не прикрикнула на них, и они убежали в хижину позади нас. Мы шли уже по середине деревни, возле двора того богача. Две женщины клали свежий слой глины

на стену амбара для зерна. Три парня примерно моего возраста возвращались с охоты, неся мертвую лесную антилопу. Луносветлого я не видел.

Возвращение охотников пробудило селение. Мужчина и женщина, девочка и мальчик – все вышли взглянуть на плод охоты, но остановились, завидя меня. Колдун произнес имя, какого я не знал. Богач, имевший шесть жен, вышел и направился прямо ко мне. Высокий мужчина с толстым пузом. С серо-желтым пучком вымазанных глиной волос на затылке и пятью страусовыми перьями на макушке. Пучок, потому как он – мужчина, каждое перо означало особо крупную добычу. Желтая глина полосами подчеркивала его скулы, а победные рубцы покрывали его грудь и плечо. Этот человек убил много людей, и львов, и слона. Может, даже и крокодила или бегемота. Вышли две его жены, одна из них была женщиной с реки. Колдун обратился к нему:

– Отец, который говорит с крокодилом и тот не ест нас в сезон дождей, выслушай меня. – Затем он сказал что-то тому мужчине, чего я не понял.

Мужчина оглядел меня с головы до ног, с ног до головы. Я уже по меньшей мере луну как ощущал свою наготу. Он подошел поближе и сказал:

– Сын Абойами, брат Айоделе, эта тропа – твоя тропа, эти деревья – твои деревья, этот дом – твой дом.

Имен этих я не знал. Или, может, то были просто имена людей, ко мне никакого отношения не имевших. В буше семья не всегда была семьей, а друг не всегда был другом. Даже жена не всегда была женой.

Богач провел меня через вход во внутренний двор, где детишки гоняли кур.

Они пахли глиной, пыльцой и куриным пометом под ногами. Было у богача шесть залов. В окно были видны две жены, моловшие муку. Под стать зернохранилищу, кухня исходила сладостью каши, а тут еще, помимо кухни, одна жена мылась под струей воды, лившейся из отверстия в стене. А еще и стена, длинная и темная, заляпанная сосцами из глины. Дальше шла открытая площадка под камышовой крышей, со скамейками и коврами, а позади нее – самая длинная стена. Спальня Дяди, где над ковровыми лежанками висела громадная бабочка. Он заметил, что я разглядываю, и объяснил, что круги в центре – это покрытые рябью озерки воды, требующие обновления каждую весну или как только он спустит в родник мочу своей новой жены.

Рядом с его залом находилось помещение для кладовой, где спали дети.

– Этот дом – твой дом, эти ковры – твои ковры. А вот эти жены – мои, – изрек он, кашлянув. Я улыбнулся.

Мы сели на открытой площадке: я – на циновке, он же уселся в кресло и откинулся так далеко, что скорее лежал, а не сидел в нем. Сиденье вырезалось точно под его зад, спинка была укреплена тремя поперечинами, вырезанными в виде яиц, уложенных в три ряда, помню, как вздыхал отец, потирая собственную спину после такого кресла. Передняя спинка кровати резалась в виде громадного головного убора из рогов. Крупная спина, толстенькие ножки, резные рога и обвислые уши придавали ему вид быка-буффало из буша. Возлежа в кровати, Дядя превращался в мощное животное.

– Твое кресло. Я уже видел такое, – сказал я. Дядя мой сел, выпрямившись. Казалось, его встревожило, что таких два. – Это люди вашего племени сделали?

– Лоби, мастер по дереву в городе, клялся, что сделал всего одно. Но городские врать горазды, это в их природе.

– Тебе знакомы городские улицы?

– Я многие истоптал.

– Почему же ты вернулся?

– Откуда тебе знать, что я покинул деревню ради города, а не город ради деревни?

Ответить я не мог.

– Где ты видел такое кресло? – спросил он.

– В своем доме.

Он кивнул и засмеялся.

– Кровь все равно выказывает себя по-кровному, даже если разделена песком, – сказал он и хлопнул меня по плечу.

– Принеси мне кровавую пальмовую водку и табак, – крикнул он одной из своих жен.

Племя это называло себя и свое селение Ку. Когда-то они властвовали по обе стороны реки. Потом вражеское племя, Гангатом, стало больше и сильнее, к нему еще многие присоединились, и Ку вытеснили на ту сторону реки, где солнце садилось. Мужчины Ку мастерски владели луками и стрелами, со знанием дела водили скот на свежие пастбища, знали толк в молоке и поспать умели. Женщины были мастерицами рвать траву для крыш, со знанием дела обмазывали стены глиной или коровьим навозом, устраивали загоны для коз и детишек, что гонялись за козами, умели ходить по воду, мыть вымя, доить скотину, кормить детей, варить суп, мыть колебасы[11] и сбивать масло. Мужчины отправлялись на близлежащие поля сеять и убирать урожай. Копали в воде. Я едва не упал в одну из выкопанных ям, глубокую до того, что слышно было, как на дне шебуршат старые Дьяволы, громадные, как деревья. Луносветлый малый рассказал мне, что скоро собирать урожай сорго, вот женщины и явились на поля с корзинами, чтоб относить зерно. Однажды я увидел, как в деревню вернулись девять мужчин, высокие, одни сияющие от новой раскраски красной охрой, а другие от масла ши – они выглядели новоиспеченными воинами.

– Кто эти мужчины? – спросил я человека, что считал себя моим дядей.

– Это новички. Сначала они были мальчиками, потом отправились на ритуал становления мужчинами, чтобы умереть как мальчики и вновь родиться мужчинами, – сказал тот.

– Это не то, чему меня отец учил, – сказал я.

Вечером они пели, танцевали и боролись, и опять пели, надевали маски хемба[12], что походили на морды шимпанзе, но Кава пояснил: это чтобы можно было поговорить с умершими предками, ставшими духами в деревьях. Они пели в масках хемба, силясь снять проклятие многих лун неудачной охоты. Барабан под порывы ветра отбивал смешливый ритм. Бам-бам-бам, лака-лака-лака.

Селение, пробудившись, потянулось к новому запаху, а тот был повсюду. Новоиспеченные мужчины и новые женщины зрели на прорыв. Я следил за ними из дома человека, кому предстояло стать мне дядей, а он меж тем следил за своими женами, почесывая пузо.

– Мне один сказал, что отведет меня на ритуал становления мужчиной, – сказал я.

– Обещал тебе сводить на Зареба? Под чьей командой?

– Под его собственным водительством.

– Это об этом он тебе сейчас поведал?

– Да. Что я буду его новым напарником, раз прежний умер от укуса змеи. Я теперь говорю на вашем языке. Знаю ваши повадки. Я твой кровный родич. Я готов.

– А чей это малый? – поинтересовался мой Дядя. Но я не знал, где этот малый живет. Дядя потер подбородок и взглянул на меня:

– Ты родился, когда тебя нашли, а с той поры еще и луны не прошло. Не торопись помирать так рано.

Я взглянул на человека, кому предстояло стать мне дядей. Я не рассказывал ему, что я уже мужчина.

---

[11] *Колебас* – сосуд, изготовленный из высушенного и выдолбленного плода колебасового дерева или тыквы-горлянки.

[12] Сделанные из дерева, коры и кожи маски, изображающие человеческие или обезьяньи лица (как правило, искаженные) в стиле, характерном для проживающего в Западной Африке народа *хемба*.

– Ты их видел. Мальчишки, бегающие тут, поменьше, чем мужчины, что вернулись в селение.

– Какие мальчишки?

– Мальчишки с красными пипками, бабами, оттяпанными от мужиков.

Я не понимал, о чем он толковал, и он вывел меня из дому. Небо было серым и пухло в ожидании дождя. Два мальчонки бежали мимо, и Дядя окликнул того, что повыше, с лицом, расписанным красным, белым и желтым, желтая линия посередине его головы шла до самого низа. Помни, что Дядя мой был человек очень влиятельный, у него коров было больше, чем у вождя, и даже золото имелось. Мальчонка подошел, блестя от пота.

– Я гнался за лисом, – сказал он моему Дяде.

Дядя взмахом руки подозвал его поближе. Смеясь, он сказал, что мальчишка знает про свою метку окончания юности и хочет, чтоб о том узнало все селение. Мальчишку передернуло, когда Дядя схватил его яйца с членом, словно взвешивал их.

– Посмотри, – предложил мне Дядя. Краска почти скрывала, что кожицы нет, срезана, и наружу выпростался цветущий конец. – Вначале все мы рождаемся двоими, – пояснял Дядя. – Ты и мужчина, и женщина, точно так же, как девочка – она женщина, она же и мужчина. Этот парень теперь будет мужчиной, когда шаман срезал с него женщину.

Парень стоял ни жив ни мертв, но старался держаться гордо. Дядя мой продолжал говорить:

– А в девочку мужчина должен глубоко проникнуть и прорвать ей *неха*, чтобы она стала женщиной. Так же, как первые существа были двоими. – Он погладил парня по голове, отпустил его и вернулся в дом.

Поодаль на скале собрались мужчины. Высокие, сильные, черные и блестящие, с копьями. Я смотрел на них, пока солнечный закат не превратил их в тени. Дядя повернулся ко мне и только что не зашептал, будто поверял мне жуткую весть среди чужаков:

– Каждые шестьдесят лет вокруг солнца мы празднуем смерть и возрождение земли. Самые перворожденные были двойняшками, но только когда отделенный мужчина испустил свое семя в землю, только тогда появилась жизнь. Вот почему мужчина, который еще и женщина, и женщина, которая еще и мужчина, несут опасность. Слишком поздно. Ты вырос слишком большой и останешься и мужчиной, и женщиной.

Говоря это, он следил, насколько слова его западают мне на ум.

– Я никогда не буду мужчиной?

– Ты станешь мужчиной. Но то, другое, оно в тебе, и оно сделает тебя другим. Вроде мужичков, что бродят по землям и учат наших жен женским секретам. Ты будешь знать, как они знают. Божьим промыслом у тебя, может, и получится баб заваливать, как они заваливают.

– Дядя, вы ввергаете меня в великую печаль.

Я не сказал ему, что женщина уже внутри меня ярится и что меня обуревают ее желания, только во всем другом женщиной я себя не ощущаю, я хочу охотиться на оленя, и бегать, и забавляться.

– Жалею, что не обрезан. Готов сделать это сейчас, – сказал я.

– Обрезать тебя должен был бы отец. Теперь уже слишком поздно. Слишком поздно. Ты всегда будешь идти по грани между двух. Всегда будешь идти двумя дорогами разом. Ты будешь всегда ощущать силу одного и боль другой.

В ту ночь луна не вышла, но, когда он вышел наружу из хижины, луносветлый так и сиял.

– Идем посмотрим, что новые мужчины и женщины делают, – предложил он.

– Ты должен назвать мне свое имя.

Он ничего не сказал.

Мы пошли по бушу к месту, откуда барабанщики слали послания богам на небесах и предкам в земле. Луносветлый шагал быстро, меня не ждал. А я все еще боялся наступить на

змею. Малый исчез, пройдя стену из толстых листьев, и я остановился, не зная, куда идти, пока белесая рука не схватила меня и не протащила за листву.

Мы вышли на лужайку, где барабанили барабанщики, а другие колотили палками и свистели. Подошли двое мужчин, чтобы начать церемонию.

– Бумбанджи, должностное лицо и поставщик провизии. А еще воришка. Посмотри на него в маске *мвилу*[13] с торчащими во все стороны перьями и громадным клювом птицы-носорога. Смотри, рядом с ним Макала, мастер заклинаний и чар, – рассказывал Кава.

Новоиспеченные мужчины выстроились в шеренгу, плечом к плечу. Все были в юбках из тонкой ткани, какую я видел только на своем Дяде, все соорудили с помощью глины пучки со страусовыми перьями и цветами.

Потом они прыгали вверх-вниз, все выше и выше, до того высоко, что застывали в воздухе, прежде чем опуститься на землю. В землю же бухали так крепко, что земля дрожала. Прыг, прыг, прыг, прыг, *будух, будух, будух, будух*. И прыгали они непрестанно. Детей не было. Может быть, они, как и мы с луносветлым, прятались в буше. Две женщины, подойдя прямо к мужчинам, стали прыгать с ними: *будух, будух, будух*. Прыгая, мужчины и женщины сходились все ближе и ближе, пока кожа не касалась кожи, грудь не касалась груди, а нос – носа. Луносветлый малый по-прежнему держал меня за руку. Я позволял: пусть держит. Люди входили и входили в круг, и лужайку накрыло облако пыли от прыганья и топтанья, а танец уже вели одержимые божественным дымком женщины постарше, выходя из толпы и уходя в нее.

Бумбанджи вновь и вновь затягивал:

Мужик с палкой,
Баба с давалкой.
Один с другой не сходится,
Вот и дом пока не строится.

Луносветлый потащил меня обратно в буш, туда, где прохладнее, гуще и пахло приближающимся дождем. Их я унюхал так же быстро, как он – услышал. Потная вонь поднималась и расходилась по ветру. Женщина, упираясь коленями в землю, опустилась на мужчину, потом поднялась, потом села, вверх, вниз. Я моргал, пока у меня глаза в ночной темени видеть не стали. Груди ее тряслись. И она, и он издавали звуки. В комнате моего отца звуки издавал только он. Этот мужчина был недвижим. В комнате моего отца двигался только он. Я видел, как женщина на одно шевеленье мужчины отвечала десятью. Она подпрыгивала вверх и вниз, тряслась, шептала, втягивала ртом воздух, наклонялась, рычала, кричала, свои же груди тискала, разгибалась и сгибалась. Луносветлый малый повел рукой у меня между ног, потягивая меня взад-вперед за кожу в такт ее движениям вверх-вниз. Дух страсти воспылал во мне, заставив пустить сильную струю, заставив заорать.

Женщина вскрикнула, а мужчина прыжком поднялся, отталкивая ее прочь. Мы убежали.

Девять дней провел я, обучаясь у сельчан, как ловить рыбу и охотиться, прежде чем один из старейшин произнес имя моего отца. За такой давностью они и забыли его. Отец говорил, что покинул свою хижину потому, что один мудрый человек убедил его, мол, живет он среди людей отсталых, какие не знают высших богов земли и неба, никогда ничего не делали и не создавали, никогда не знали, как подхватить слова, когда они вышли изо рта, и занести их на бумагу, а еще они трахались только ради размножения. Однако Дядя рассказывал мне другое. Прислушивайся к дереву, где ты теперь живешь, ведь отец твой там. Я прислушивался к ветви за ветвью и к листку за листком – и ничего не слышал от отцов моего рода. Ночь спустя я

[13] Особые маски для ритуала обращения мальчика в мужчину, отличаются отсутствием вырезанной из дерева лицевой части, обилием перьев и использованием коры тыквенных деревьев, травы и бамбука.

услышал, как дед снаружи по ошибке говорил обо мне как о своем сыне. Я вышел, поднял голову, вглядываясь в ветви, но ничего, кроме тьмы, не увидел.

– Когда ты отомстишь убийце твоего отца? Беспокойный сон владеет мною, он ждет справедливости, – говорил дед. И еще: – После убийства Айоделе ты – старший сын и брат. Это оскверняет предначертание богов и должно быть отомщено. Мое сердце еще не охладело, мой слабенький сын.

– Я не твой сын, – заметил я.

– Твой брат Айоделе, а он старший тут, со мной, хотя и в беспокойном сне. Мы в ожидании сладкого запаха вражьей крови, – сказал дед, по-прежнему ошибаясь в том, кто я такой.

– Никакой я тебе не сын.

Я что, был так похож на своего отца? Прежде чем у меня пробились волосы, его поседели, и я никогда не видел себя в нем. Если не считать упрямства.

– Раздор все еще свеж.

– Нет у меня никаких раздоров ни с крокодилом, ни с бегемотом, ни с человеком.

– Человек, убивший твоего отца, к тому же украл его коров и перебил его коз, – выговорил дед.

– Мой отец ушел, потому что убивать – это старый обычай, обычай мелких людишек с мелкими божками.

– Человек, убивший твоего брата, до сих пор жив, – разгорячился дед. – О, до чего же велик позор, когда человек из твоего дома покидает селение. Не стану называть его имени. О, какое ж это постыдство быть слабее, чем птица, трусливее, чем мангуст-суриката. Первыми-то мне как раз коровы сказали. В тот день, как он понял, что не будет мне покоя, пока он не отомстит, он бросил коров в буше и сбежал. Коровы своим путем сами вернулись к хижине. Он забыл свое имя, забыл свою жизнь, свой народ, разучился охотиться с луком и стрелами, охранять сорговые поля от птиц, ухаживать за скотом, избегать ила, оставленного наводнением, ведь это в нем спят крокодилы, ища прохлады. И ты. Быть ли тебе единственным юнцом в сотни лун, кого возненавидит крокодил?

– Я не твой сын, – твердил я.

– Когда ты отомстишь за своего брата? – вопрошал он.

Я обошел хижину и сзади увидел Дядю, нюхавшего табак из рога антилопы, как делают богачи в городе. Мне хотелось знать, почему он ушел в город, как мой отец, и почему, не как мой отец, вернулся обратно. Он возвращался со встречи с шаманом, который только что пришел с устья реки, где прозревал будущее. По лицу Дяди я не мог понять, провидел ли шаман больше коров и новую жену или голод да болезни грядут от мелкого божка. Я чуял на Дяде запах *дага*: колдун жевал ее для остроты ясновидения, – что означало, что шаману с его вестями он не доверяет и желает сам во всем убедиться. Могло показаться, будто Дяде что-то предстояло сделать. Отец мой был человек умный, но никак не такой же ушлый, как Дядя. Тот указал на белую линию у себя на лбу:

– Порошок из сердца льва. Шаман смешал его с кровью женских месячных и толченой корой красного дерева, потом жевал это, чтоб предсказать будущее.

– И ты это носишь?

– А ты что бы выбрал: есть львиное сердце или носить его?

Я не ответил.

– Дедов призрак умом трехнулся, – сказал я. – Все спрашивает раз за разом, когда я убью убийцу моего брата. Нет у меня никакого брата. Еще он считает, что я самому себе отец.

Дядя хохотнул. Я думал о луносветлом малом – и о лесе. Мысли эти захватили меня и унесли до того далеко-далеко, что, когда в голове все вернулось на исходные, Дядя пристально разглядывал меня. И тогда меня разобрало, отчего это я мозги занимал такими вещами, когда

мой умерший безумный дед путает меня со своим сыном и желает отмщения за моего другого дядю.

– Твой отец тебе не отец.

– Что?

– Ты сын храбреца, но внук труса.

– Мой отец так же стар и хил, как и старейшины.

– Твой отец – твой дедушка.

Он даже не понимал, насколько потряс меня.

– Когда тебе всего несколько годиков было, хотя мы и не считаем годами, племя Гангатом, живущее за рекой, убило твоего брата. Сразу после того, как он вернулся с Зареба, с ритуала становления мужчиной. Во время охоты на вольных землях, что не принадлежат никакому племени, он столкнулся с отрядом гангатомов. Всеми признано, что на вольных землях не должно быть никаких убийств, но они изрубили его до смерти острыми тесаками и топорами. Твой отец, мой брат, был самым умелым и метким лучником в селении. Мужчина должен знать имя того, кому он собирается мстить, или он рискует оскорбить какого-нибудь бога. Твой отец не слушал никого, даже своего отца не слушал. Он заявил, что кровь, текущая у него в жилах, львиная, должно быть, перешла к нему от матери, которая всегда с криком требовала мести. Вопли о мести выдворили ее из мужниного дома. Она перестала раскрашивать лицо и больше вовсе не ухаживала за волосами. Некоторые дуростью считают мстить за смерть одного сына убийством еще одного сына, так ведь и время-то было дурацкое. Он отомстил за смерть, только его тоже убили. Твой отец подобрал его лук и шесть стрел. Цели он себе избрал за рекой и поклялся убить шесть живых душ, каких увидит. Еще до полудня он убил двух женщин, трех мужчин и одного ребенка – все из разных семей. Теперь против нас было шесть семей. Теперь шесть новых семей означали для нас смерть. Они убили твоего отца на вольных землях, когда человек, живший там, заявил, что шкуры, купленные им у него, расползлись через две луны. Твой отец отправился разобраться с жалобой и отстоять свое доброе имя. Только тот человек предательски завлек его в ловушку против трех воинов-гангатомов еще две луны назад. Мальчишка прицелился из лука и послал стрелу ему в спину, прямо в сердце. Историю про порченые шкуры гангатомы подсказали, потому как у мужика того ума не хватило бы на толковое предательство. Он как раз об этом и рассказал мне, прежде чем я ему глотку перерезал.

Мне не хотелось свой страх показывать, но и его упертый взгляд я выдерживать не хотел, не то он понял бы, что я стараюсь страх не показывать. Не хотел я и взглядом в землю упираться, не то выходило бы, будто я боюсь взглянуть на него. Небо – вот куда я уставился.

И вот что еще рассказал мне Дядя. Дед мой, устав от убийств, забрал мою мать и меня из селения. Это как раз он коров-то и бросил. Вот потому-то, хоть я и был мал, отец мой был старым, старым, как старейшины с горбатыми спинами. Даром что бег сделал его тощим – кожа да кости. Вид у него всегда такой, что того и гляди улетит. Мне захотелось убежать от своего Дяди к отцу своему. Деду. Отцу. Земля под ногами в тот момент не была землей под ногами, небо не было небом, ложь была правдой, а правда – чем-то изменчивым и ускользающим. Меня тошнило от правды.

Я понимал: у Дяди есть еще о чем рассказать мне, есть у него в запасе слова здравые, со смыслом, слова, какие мозги мне обратно вправят, как надо, потому как они дурость за смысл приняли, и я не мог собственным предкам верить, тем более их упокоенным последам в дереве. Может, дед мой умер трехнутым. Может, сам я нынче трехнутый. Как только мог я не верить тому, что всякая баба, всякий мужик болтали. Слишком много я слушаю. Всему верю. Верю старику, кто не был мне отцом, и женщине помоложе, что была мне матерью. Может, она и не была моей матерью. Спали они в одной комнате, в одной постели, и он забирался на нее, как мужьям положено, – я их много раз видел. Может, мой дом и не мой дом и, может, мой мир и не мир вовсе.

Дух на верхних ветках этого долбаного дерева был моим отцом. Говорил со мной. Подбивал меня на убийство за моего собственного брата. И все селение знало. С того дня они приходили ко мне (иногда в дом Дяди), чтоб безо всяких обиняков спросить меня. Старая женщина прислала детей спросить: ты когда отомстишь за своего брата? Другие ребята спрашивали, обучая ловить рыбу: ты когда отомстишь за своего брата? И всякий раз, когда кто-то задавал этот вопрос, сам вопрос обретал новую жизнь. После стольких лет нежелания быть хоть в чем-то похожим на своего отца теперь я хотел быть им. Мне хотелось быть таким, как мой дед. Бабка моя умерла трехнутой из-за своей навязчивой потребности в мести.

– Где она обитает? – спросил я Дядю.

– Дом построили, а потом оставили большие птицы, – сказал он. – Полдня пути от нашего селения, если стоять на берегу реки.

Я сидел позади амбара с зерном.

Сидел там не день и не два.

Не говорил ни с кем.

Дяде моему хватало мудрости оставлять меня в покое. Я раздумывал о своих деде с Дядей и пытался мысленно представить, каков из себя мой отец. Только это всегда пропадало, и воображение рисовало мне лишь деда и мою мать, обоих голыми, но не касавшимися друг друга. Если тащишь что-то, что нести тебе не по силам, то что остается, как не сбросить это? А ну как запоздаешь и сам окажешься раздавлен этим? Вот потому-то я и двинуться не мог. Я чувствовал это, я понимал, но и, понимая, не мог заставить себя двинуться. Я был глупцом, ведь все всё знали. Я был животным, готовым задрать первого попавшегося, кто слово изронит при мне про отцов и дедов. Отца своего я ненавидел еще больше Деда своего. После такого множества лун, когда я убеждал себя, что отец мне не нужен. У нас же с ним, у меня с отцом, до драк доходило. И теперь, когда у меня его нет, он мне нужен. Теперь, зная, что он и из сестры тетю бы сделал, я хотел убить его. И свою мать. Может, ярость была бы способна поднять меня, заставила б встать, заставила б идти, только вот он я – сижу себе, как сидел, у амбара с зерном. Все так же недвижимо. Слезы накатились и пропали, а я их даже не замечал, а когда заметил, то запретил себе думать, будто плачу.

– Етить всех богов, ведь теперь у меня такое чувство, будто я в воздухе скакать могу, – выговорил я вслух. Кровь была границей, семья – веревкой. Я был свободен, говорил я себе. И говорил сам с собой всю ночь и весь день напролет целых три дня.

Никогда не было у меня желания искать свою бабку. На что б ее хватило, как не на еще больше наговорить мне про то, чего я не желал слышать. Про то, что помогло бы мне понять прошлое, но стоило бы мне больших слез и большей скорби. От скорби меня тошнило.

Я пошел к тому, кто разводил костер у своей хижины. Почему его хижина, его хранилище зерна, его костер обходились без женщины, я не спрашивал. Ведь малый, еще и мужчиной не ставший, сам себя растил.

– Я поведу тебя на Зареба, и ты обретешь право быть мужчиной. Но еще до следующей луны ты должен убить врага, иначе я тебя убью, – сказал он.

– Мысленно я зову тебя луносветлый малый, – признался я.

– Почему?

– Потому что у тебя кожа была темно-белая, как луна, когда я тебя в первый раз увидел.

– Мать моя зовет меня Кава.

– Где она? Где твой отец, сестра, братья?

– Ночной недуг, все они умерли. Сестра – последней.

– Когда?

– С тех пор солнце обошло эту землю четыре раза.

– Меня блевать тянет от разговоров об отцах. И матерях. И дедах. Обо всех кровных.

– Усмири эту ярость, как я.

– Жалею, что кровь не сжигает.

– Усмири эту ярость.

– Они у меня есть, и я потерял их, и то, что у меня есть, – вранье, только правда еще хуже. У меня от них голова огнем горит.

– Ты пойдешь на Зареба со мной.

– Дядя мой говорит, что я не гожусь для Зареба.

– Значит, ты все ж от родни словцо ловишь.

– Дядя говорит, что я не мужчина. Что следует срезать женщину на кончике вот этого.

– Значит, оттяни шкурку назад.

Задворки его хижины были неподалеку от реки. Мы спустились на берег. У него в руке была тыква. Он зачерпнул рукой воду, вылил в тыкву и махнул мне рукой, подзывая.

Я стоял смирно, а он, набрав сырой белой глины, расписывал мне лицо. Раскрасил мне шею, грудь, ноги, икры и ягодицы. Потом опустил руку в воду, смыл глину и стал наносить мне на кожу змеистые линии, отчего было щекотно. Я засмеялся, но он был как камень. Нанес змеистые линии мне на спине и вниз по ногам. Ухватил мою крайнюю плоть и сильно потянул ее, сказав, что делать с этим сморщенным корешком. Раскрасил его глиной, потом медленно и нежно нарисовал маленький цветочек. Слова зазвучали в деревьях, только я пропускал их мимо ушей. Кава же сказал:

– Жаль, у меня нет врага, кому бы я мог отомстить за мать и отца. Но был ли когда такой человек, кто убил воздух?

Три

Вот что я видел.

Три дня и четыре ночи в доме Кавы. Дядя мой никак не возражал, а если и был недоволен, то вслух этого не высказывал. Он был мужчиной в своем доме и под солнцем, и при луне и полагал, что я заглядываюсь на его жен, так же раскрыв рот и высунув язык, как и они, пялясь на меня. По правде, дом моего Дяди был вполне большой, мы могли бы неделю ходить в нем и совсем не встречаться. Но я мог вынюхивать, что он прячет от своих женщин: дорогие ковры из города под дешевыми, ценные шкуры крупных кошачьих под дешевыми шкурами зебр, золотые монеты и амулеты в мешочках, вонявших животным, из чьей кожи их шили. Жадность понуждала Дядю прятать все, запихивая к себе, отчего он делался еще меньше, невзирая на свое большое пузо.

А вот хижина Кавы.

Как и все хижины, она была мала снаружи, зато просторна внутри, как жилье какого-нибудь богача.

На полу лежали одежда и шкуры, оказавшиеся одеждой, когда я тряхнул их. Черный порошок в тыкве для наведения блеска на стенах. Кувшины с водой, кувшины для сбивания масла, сосуд из тыквы и нож, чтоб кровь корове пускать. То был дом, по-прежнему живший заботами матери. Я никогда не спрашивал его, не похоронены ли родители прямо под ним, или, может, отец оставил его на попечение матери, вот он и выучился женскую работу делать, поскольку совсем не ходил на охоту.

Мне не хотелось возвращаться к Дяде, я не собирался толковать с голосами в деревьях, они никогда ничего мне не давали, а теперь еще и чего-то требовали. Так что я остался в хижине у Кавы.

– Как тебе нравится быть одному?

– Мальчик, спрашивай то, что ты хочешь спросить.

– Етить всех богов, тогда скажи, что я хочу тебя спросить.

– Ты хочешь спросить, как у меня получается жить так хорошо без матери с отцом. Отчего боги улыбаются на мою хижину?

– Нет.

– На том же дыхании звучала весть, как твой отец рассказал тебе, что он мертв. Я не мог бы…

– Так и не пробуй, – осадил я.

– А твой дедушка – отец всяких врак.

– Ну.

– Как и любой другой отец, – сказал Кава и засмеялся. И еще сказал: – Это старичье, они говорят такое и поют погаными своими ртами, что человек ничто во всем, кроме крови. Старики рехнутые, и верования их дряхлеют. Пробуй новое верование. Я пробую новое каждый день.

– Как это?

– Оставайся в семье – и кровь тебя подведет. Меня вот ни один гангатом не разыскивает. Однако мне завидно.

– Етить всех богов, чему тут завидовать?

– Узнать о семье лишь после того, как всю ее потерял, лучше, чем жить в ней и видеть, как вся она гибнет по одному.

Кава повернулся к темному углу своей хижины, и я едва удержался, чтоб не выйти.

– Как ты узнал про мужчин и женщин? – спросил я.

Он засмеялся. И сказал:

– Подглядывал за новоиспеченными мужчинами и женщинами в буше. У Луала-Луала, народ такой за Гангатомом, есть мужчина, кто живет с мужчиной как с женой, и женщина, что живет с женщиной как с мужем, и есть мужчина и женщина совсем без мужчины или женщины, живут, как им захочется, и во всем этом нет ничего необычного.

Откуда ему было это знать, когда он еще и мужчиной не стал, я не спрашивал. Утром мы наведались к речным скалам и раскрасили то, что пот смыл за ночь. Ночью я узнал его, как и он узнал меня, когда ему захотелось поспать. И живот его касался моей спины, и я слышал его дыхание. Или лежали мы лицом к лицу, а рука его у меня меж ног держала в ладони мои яйца. Мы боролись, кувыркались, хватали и тискали друг друга, пока внутри обоих нас не ударила молния.

Ты, Инквизитор, человек, понимающий в удовольствиях, хоть и напускаешь на себя вид, будто в узде их держишь. Знаешь ли ты, что это за чувство – не в теле, а в душе! – когда вызвал в человеке удар молнии? Или в женщине, раз уж я проделывал это с таким множеством из них? Девчонка, чей внутренний мальчик в складках ее тела не срезан, дважды благословенна богом наслаждения и изобилия. Такая моя вера. Первый мужчина ревновал к первой женщине. Чересчур мощной была ее молния, кричала и стонала она так, что и мертвых пробудила бы. Первый мужчина ни за что не смог бы смириться, что боги даровали слабой женщине такие богатства, вот и прежде, чем каждая девчонка становится женщиной, мужчине полагалось бы украсть это, отрезать и в буш забросить. Только боги туда это засунули, так глубоко упрятали, что ни один мужчина и не взялся бы искать. Мужчина еще поплатится за это.

Видел я и побольше этого.

День занялся, но солнце еще пряталось. Кава сказал, что мы идем в буш и не вернемся раньше, чем больше луны пройдет. Здорово, подумал я, потому как во мне все недужить начинало при мыслях о семье. Обо всем, что с Ку связано. Думалось, задержись я тут еще дольше, так обратился б в гангатома и принялся б убивать, пока в селении не образовалась дыра такая же большая, какую я видел, закрывая глаза, в те последние ночи. Мертвое никогда не лжет, не обманывает, не предает. А чем была семья, как не местом, где и то, и другое, и третье пышным

мхом цвели? Я должен был пойти, не то в сердце моем сгорело бы все доброе, и осталось бы в нем одно лишь белое да злое. Сказал же я так:

– Значит, ненадолго, пока Дядя по мне не соскучится.

Я надеялся на охоту. Хотелось убивать. Но я все еще боялся гадюки, а Кава перешагивал через стелющиеся деревья, коленопреклоненные растения и пляшущие цветы, будто точно знал, куда ступать. Дважды я терялся, дважды его белесая рука пробивалась сквозь густую листву и хватала меня.

– Шагай не останавливаясь и сбрось бремя свое, – сказал Кава.

– Что?

– Свое бремя. Не позволяй ничему останавливать себя, и ты сбросишь его, как змея кожу.

– День, когда я услышал, что у меня есть брат, стал днем, когда я потерял брата. День, когда я узнал, что у меня был отец, стал днем, когда я потерял отца. День, когда я услышал, что у меня был дед, стал днем, когда я услышал, что был он трусом, кто имел мою мать. И о ней я не слышу ничего. Как мне сбросить такую кожу?

– Шагай знай, – произнес Кава.

Мы прошагали бушем, болотом, лесом и громадной соляной равниной, пока дневной свет не убежал от нас.

В буше я получал встряску каждый миг, всю ночь я то спал, то вскакивал, просыпаясь. На следующий день после очередного длительного перехода, когда я стал жаловаться на долгую ходьбу, услышал над собой в деревьях шаги и поднял взгляд. Кава сказал, что он следовал за нами с того времени, как мы повернули на юг. Я и не знал, что мы направляемся на юг. Вверху над нами, на дереве, сидел леопард. Мы шли – и он шел. Мы останавливались – и он останавливался. Я крепко сжал копье, но Кава глянул вверх и свистнул. Леопард спрыгнул на землю перед нами, долго и упорно нас разглядывал, порычал, потом убежал. Я ничего не сказал, ведь что скажешь тому, кто только что разговаривал с леопардом? Мы пошли дальше на юг. Солнце дошло до средины серого неба, но джунгли непроходимо укрывали листва, кустарник и холод. Еще птицы со своими уа-ка-ка-ка да ко-ко-ко-ко. Мы вышли к реке, серой, как небо, вяло текущей. Новые растения пробивались из упавшего дерева, которое мостиком перекинулось с одного берега на другой. Посреди русла из воды торчали два уха, глаза, ноздри и одна голова, широченная, как лодка. Глаза бегемотихи следили за нами. Пасть ее широко раскрылась, разделив голову надвое, животное рыкнуло. Кава обернулся и шикнул на бегемотиху. Голова вновь ушла под воду.

Порой мы догоняли Леопарда, и тот убегал подальше в лес. Он поджидал нас всякий раз, когда мы слишком отставали от него. Хотя в буше делалось холоднее, меня еще сильнее прошибал пот.

– Мы вверх взбираемся, – заметил я.

– Мы взбираться стали еще до того, как солнце на закат повернуло, – сказал Кава. – По горе идем.

Стоит сказать только, что вниз – это для разнообразия вверх вместо вниз. Я ведь шагал не на юг, я шагал вверх. На землю опускался туман и плыл в воздухе. Дважды мне казалось, что это духи. Вода капала с листьев, и почва под ногами становилась влажной.

– Нам недалеко еще осталось, – сказал Кава еще до того, как я спросил.

Мне казалось, что мы ищем какой-то просвет, однако мы уходили еще глубже в кустарник.

Вокруг свешивались ветви и били меня по лицу, лозы и лианы оплетали мне ноги, валя наземь, деревья склонялись взглянуть на меня, и каждая черточка на их коре обозначала хмурость. И Кава принялся говорить с листвой. И ругаться. Луносветлый малый с ума сошел. Только говорил он не с листвой, а с людьми, что под ней прятались. Мужчина и женщина с такой же пепельной кожей, как у Кавы, с волосами серебристыми, как земля, только росточком

не выше, чем твой локоть по кончик среднего пальца. Юмбо, понятное дело. Добрые карлики листвы, но тогда я этого не знал. Они шагали по ветвям, пока Кава не ухватил одну ветку и они по рукам не перелезли с нее к нему на плечи. У обоих росли волосы на спине, а глаза светились. Мужичок уселся у Кавы на правом плече, женщина – на левом. Мужичок залез в мешок и вытащил трубку. Я держался в сторонке, пока челюсть сумел на место вернуть, глядя на высокорослого Каву и двух полуростков, один из которых оставлял густую струю дыма из трубки.

– Мальчик?

– Да, – кивнул мужичок.

– Он голодный?

– Мы дали ему ягод и овечьего молока.

– И немного крови, – добавила женщина.

Речь у обоих очень походила на детскую.

За время долгого похода я всю дорогу упирался взглядом в спину Кавы. Младенца я увидел еще раньше, чем Кава подошел к нему. Он сидел на мертвом муравейнике, держал во рту цветок, губы и щеки были пурпурными от сока ягод. Кава опустился перед младенцем на колени, и карлик с женщиной спрыгнули с его плеч. Кава взял малыша на руки и попросил воды. «Воды», – повторил он и глянул на меня. Я вспомнил, что нес бурдюки с водой. Кава налил воды на ладонь и напоил младенца. Я смотрел Каве через плечо, когда кроха улыбнулся: два верхних зуба торчали вверху, как у мыши, все остальное – десны.

– Минги[14], – сказал Кава.

И пошел вперед с младенцем, я и спросить не успел. Потом остановился.

– Боги не очень-то бдительно смотрели за этой. Мы не смогли…

Карлик не окончил фразу.

Я не видел, пока мы не дошли до сладковатой вони. Две маленькие ножки торчали из кустов, подошвы ножек были синими. Мухи зудели свою жуткую музыку. Последнее, что я съел, грозило вырваться изо рта, в груди закололо, когда я сглотнул это обратно. Сладковатая вонь вязалась за нами, даже когда мы ушли очень далеко. Дурной запах, как и хороший, может преследовать тебя до завтра. Вечно. Потом немного брызнуло дождем, и деревья ниспослали нам запах плодов. Кава прикрыл лицо младенца ладонью. И вновь он заговорил, когда я и спросить не успел.

– Этот мальчик – минги.

– Ужасное какое-то имя. Ты его знаешь?

– Это не имя его. Это то, что он есть.

– Что это значит?

– Не видишь разве, какой рот?

– Рот у него младенческий, как у любого младенца рот.

– Ты слишком долго прожил, чтоб быть таким дураком, – произнес Кава.

– Ты не знаешь моего возраста и не знаешь…

– Тихо. Этот мальчик – минги. Когда он открыл ротик, ты видел два зуба. Но были они наверху, а не внизу, вот почему он – минги. Младенец, у кого верхние зубы вырастают прежде нижних, это проклятье, и он должен быть уничтожен. Иначе проклятье перейдет на его мать, на отца, на семью и принесет в селение засуху, голод и чуму. Так возгласили наши старейшины.

– А та, другая? У нее тоже зубы…

– Минги, их много, всякие.

– Так старухи болтают. В городах так не говорят.

---

[14] *Минги* – в традиционной вере ряда племен в Южной Эфиопии взрослые и дети с физическими аномалиями ритуально нечисты. Считается, что они оказывают дурное влияние на других, поэтому дети, родившиеся уродцами и инвалидами, традиционно уничтожались без обычного захоронения.

– Что такое город?

– Что такое другие минги?

– Мы идем дальше. И пойдем еще дальше.

– Куда?

Из кустов выпрыгнул Леопард, и маленькие карлики бегом спрятались за Каву. Леопард рыкнул, оглянулся и заревел. Мне показалось, что он хочет, чтоб Кава отдал ему младенца. Зверь припал к земле, потом повалился на спину, потянулся и вздрогнул, будто ему плохо стало. Опять зарычал, как собака, в какую камнем попали. Передние лапы его вытянулись далеко, но задние протянулись еще дальше. Спина его раздалась и втянула в себя хвост. Шерсть пропала, только он все равно волосатым остался. Катался по земле, пока мы не увидели человечье лицо, только глаза по-прежнему оставались желтыми и прозрачными, как стекло в том месте, где в песок ударила молния. Волосы у него на голове были черными и буйными, свисали с висок и щек. Кава смотрел на него так, будто в этом мире такое видишь сплошь и рядом.

– Вот что случается, когда мы добираемся слишком поздно, – произнес Черный Леопард.

– Младенец все равно умер бы, даже если б мы бегом бежали, – сказал Кава.

– Я имел в виду опоздание на дни: мы опоздали на два дня. Смерть вот этого – в наших руках.

– Тем нужнее этого спасти. Дадим ходу. Зеленые змеи уже почуяли запах этого. Гиены учуяли запах той, другой.

– Змеи. Гиены. – Черный Леопард рассмеялся. – Ту малышку я схороню. Пока не сделаю, не пойду за вами.

– Схоронишь ее – чем?

– Отыщу что-нибудь.

– Тогда мы подождем.

– Не ждите ради меня.

– Я не ради тебя подожду.

– Два дня, Асани.

– Я приду, когда приду, котяра.

– Я ждал десять дней.

– Тебе следовало бы подождать подольше.

Черный Леопард зарычал так громко, что я было подумал, он опять обратится.

– Ступай схорони девочку, – сказал Кава.

Черный Леопард глядел на меня. По-моему, он в первый раз заметил, что я был рядом. Фыркнул, отвернул голову прочь и ушел обратно в кусты.

Не успел я задать вопрос, как Кава ответил на него:

– Он точно такой же, как и любой другой в буше. Боги сотворили его, только забыли, кто из богов сотворил первым.

Только то не был один из вопросов, какие я задать хотел.

– Как вы сошлись друг с другом?

Кава все еще смотрел туда, где в кустах исчез Леопард.

– Перед Зареба. Я должен был доказать, что мальчик без матери достоин стать мужчиной – или умереть мальчиком. Он должен пробираться в буше, проскальзывать мимо воинов Гангатома в открытом поле. И не должен возвращаться без шкуры большой кошки. Слушай же, что произошло. Я был в желтых кустах. Услышал, как ветка хрустнула и младенец заплакал, увидел, что Леопард несет на шее ребенка. Зубами его держал. Я поднял копье, он заворчал и бросил малышку. Я подумал: спасу этого ребенка, – но малыш заорал во всю глотку и не утихомирился до тех пор, пока Леопард опять его зубами не подцепил. Я метнул копье. Я промахнулся, он набросился на меня, я и моргнуть не успел, как увидел какого-то мужчину, кто

собирался мне врезать. «Да ты всего лишь мальчишка, – говорит он. – Тебе его и нести». Вот я его и нес. Он отыскал мне шкуру мертвого льва, и я принес ее обратно в селение твоему Дяде.

– Зверь просто говорит: неси это дитя-минги – и ты его несешь?

– Что такое минги? Я и не знал, пока мы не пришли к *ней*.

– Не про то я… Кто такая *она*?

– *Она* – это та, к кому мы идем.

– И с тех пор ты тайком исчезаешь под конец каждой луны и приносишь этой самой *ей* по минги? Твой ответ оставляет еще больше вопросов.

– Тогда спрашивай то, что хочешь узнать.

Я хранил молчание.

Мы ждали, пока возвратится Леопард. Солнце было почти готово взойти. Когда он вернулся, с лица его сошла хмурость, вид был такой, словно он сердце себе замкнул. Теперь он шел позади нас, порой отставая настолько, что я думал, а не отправился ли он своим путем, порой же приближался так, что я чувствовал, как он меня обнюхивает. На нем я чуял листья, сквозь какие он пробегал, и свежую сырость росы, мертвый запах девочки и свежую пряность могильной грязи у него под ногтями.

Кава, как и большинство мужчин, нес на себе два запаха. Один, когда пот бежит по спине и высыхает, – пот тяжкого труда. И другой, что прячется под мышками, между ног, меж ягодиц, – тот, какой чуешь, когда приближаешься близко, чтобы коснуться губами. У Черного Леопарда был один только второй запах. Я такого в жизни не видел: мужчину, чьи волосы были черной ватой. На спине и на ногах у него, когда он обходил меня, чтобы забрать младенца у Кавы. Его грудь – две небольшие горы, ягодицы большие, ноги толстые. Вид такой, что так и казалось, будто он младенца в руках раздавит, а он лишь у него пыль с лобика слизал. Голоса подавали только птицы. Такая вот процессия: мужчина, белый, как луна, Леопард на задних ногах, как мужчина, мужчина и женщина ростом с карликовый кустик и малыш, больше их обоих. Расползалась тьма. Женщина-малютка перепрыгнула с Кавы на Леопарда, уселась на его руке и стала забавляться с ребенком.

Какой-то голос внутри меня говорил, что они в каком-то роде одной крови, а я чужак.

Никому из них моего имени Кава не назвал.

Мы подошли к небольшому бурному потоку. Берега его обрамляли большие скалы и валуны, как ковром, покрытые мхом. Поток гоготал, туманной моросью взлетал к ветвям, перья папоротника и стебельки бамбука склонялись к нему. Леопард положил младенца на камень, на четвереньках подобрался по берегу к самой воде и принялся ее лакать. Кава наполнил бурдюки. Малютка играла с малышом. Я поразился: тот вовсе не спал. Я встал около Леопарда, но тот и ухом не повел. Кава стоял чуть ниже по течению, высматривая рыбу.

– Мы куда идем? – спросил я.

– Я тебе уже говорил.

– Это не гора. Мы шли вокруг, потом несколько шагов назад, вниз.

– Мы дойдем туда еще через два дня.

– Куда?

Он присел на корточки, зачерпнул пригоршню воды и пил ее.

– Я хочу обратно, – сказал я.

– Нет тут никакого обратно, – сказал он.

– Я хочу обратно.

– Тогда иди.

– Кем тебе Леопард приходится?

Кава глянул на меня и рассмеялся. Смехом, сказавшим: я еще даже не мужчина, а ты меня мужскими тяготами грузишь. Может, во мне женщина подымалась. Может, следовало бы мне схватить себя за крайнюю плоть, да и оттяпать ее напрочь камнем. Вот что я должен бы

сказать. Не нравился мне Леопард-мужчина. Я не знал его, чтоб относиться к нему неприязненно, но все равно относился неприязненно. От него исходил запах, как от щели на стариковской заднице. Вот что бы я сказал. Ты говоришь, не произнося слов? Вы понимаете друг друга, как братья? Ты спишь, сунув руку ему между ног? Мне не спать, пока луна не потолстеет и даже ночные звери уснут, и убедиться, или он сам придет к тебе и уляжется на тебя, или – ты на него, или, может, он из тех, каких мой отец в городе любил, какие возьмут у тебя себе в рот?

Малыш сидел, выпрямив спинку, и хохотал, глядя, как малютки мужчина и женщина строят гримасы и прыгают вверх-вниз, как обезьянки.

– Назови его.

Я обернулся. Леопард.

– Ему нужно имя, – сказал он.

– Я даже твоего не знаю.

– Мне оно не нужно. Тебе отец какое имя дал?

– Я не знаю своего отца.

– Даже я отца знаю. Он бился с крокодилом, со змеей и с гиеной, только чтоб убить себя человеческой завистью. Яд, говорят. А ведь он гнался за антилопой быстрее гепарда. Ты такое делал? Самым острым зубом прокусить поглубже, так, чтоб теплая кровь тебе в пасть брызнула, а тело все еще била б дрожь жизни?

– Нет.

– Ты такой же, как он, значит. Жжешь свою еду, потом ешь ее.

– Ты ночью уйдешь?

– Я уйду, когда захочется. Эту ночь мы спим тут. Утром понесем младенца через новые земли. Я добуду еды, хотя не так-то много и получится, раз уж все звери слышали, как мы подходили.

Я понял, что в эту ночь спать мне не придется. Видел, как Кава с Леопардом ушли куда-то, вздымавшиеся языки пламени мешали видеть куда. Буду бодрствовать, сказал я себе, и следить за ними. Так и сделал. Придвинулся к пламени так близко, что едва брови не спалил. Сходил к реке, теперь вполне холодной, чтоб дрожь до костей пробирала, и плеснул водой в лицо. Вглядывался в темень, высматривая белые пятна на коже Кавы. Сжал пальцы в кулак так сильно, что ногти в ладонь впились. Что бы эти двое ни делали, я хотел это видеть, хотел орать, шипеть или ругаться. И вот, когда Леопард толкнул меня, будя, я вскочил, потрясенный тем, что уснул. Едва я поднялся, как Кава залил костер водой.

– Мы пошли, – сказал Леопард. – Мы пошли, – повторил он и отвернулся от меня.

Он завернул малыша в кусок ткани и перекинул его за спину. Ждать он не стал. Я протер глаза и вновь открыл их. Малютки мужчина и женщина уже сидели на плечах у Кавы.

– Одна сова со мной трепалась, – заговорила женщина. – День назад в буше. Болтают, ты ветер читаешь? Не так? Этот лепит, что нос у тебя чует.

– Я не понимаю.

– Кто ни есть, они идут за нами.

– Кто?

– Асани, он говорит, что у тебя нюх.

– Кто?

– Асани.

– Нет, кто идет за нами?

– Те по ночам ходят, не днем.

– Он сказал, что у меня нос чует?

– Говорил, будто ты какой-то следопыт.

Кава уже прочь зашагал, когда бросил: мы пошли. Еще дальше в темень. Леопард прыгал от дерева к дереву с притороченным к спине младенцем. Кава окликнул меня.

– Надо двигать, – сказал он.

Вокруг стояла тьма, ночь синяя, зеленая и серая, даже на небе звезд было мало. Но вскоре буш стал за ум браться. Руки со скрюченными пальцами, которые хватали, сталкивали с земли, становились деревьями. Извилистая змея была тропкой. Машущие крылья ночи принадлежали совам, а не дьяволам.

– Иди за Леопардом, – велел Кава.

– Я не знаю, куда он пошел, – сказал я.

– Да нет, ты знаешь.

Правой рукой он потер мой нос. Леопард явился к жизни прямо у меня перед глазами.

Я увидел в кустах и его, и его след, такой же вонючий, как и его кожа. И указал.

Он тогда как раз ушел на пятьдесят шагов, перебрался через речку, прыгая с одного дерева на другое, потом направился на юг. Остановился помочиться у четырех деревьев, чтоб запутать тех (кто б они ни были), кто шел за нами. Я знал, что у меня есть нос, какой чует, как выразился Кава, только я не знал, что он способен по следу вести. Даже когда Леопард забирался далеко, то все равно оставался прямо у меня под носом. И Кава с его запахами, и малютка-женщина, и роза, какую она втирала в свои складки, и мужичонка, и нектар, какой он пил, и жучки, каких он ел (слишком горькие, когда ему нужны были сладенькие), и бурдюки, и вода в них, что все еще пахла буффало, и водный поток. И еще, и еще много всякого, а то и больше: вполне хватало, чтоб довести меня до чего-то близкого к безумию.

– Выдохни все вон, – велел Кава.

– Выдохни все вон.

– Выдохни все вон.

Я выдохнул – протяжно и медленно.

– Теперь вдохни Леопарда.

Он притронулся к моей груди и потер вокруг сердца. Жаль, в темноте я не видел его глаз.

– Вдохни Леопарда.

И тут я опять увидел его своим носом. Я знал, куда он шел. И кто бы тайком ни выслеживал Леопарда, становился призраком, идущим по следу за мной. Я повел рукой вправо.

– Мы туда пойдем, – сказал я.

Мы бежали всю ночь. За речкой и ветвями, склонившимися над ней, мы пробежали сквозь дерево с громадными корнями, корнями, что вздымались над почвой и извивались по ней клубками и кольцами. Прямо перед рассветом я принял корень за спящего питона. Деревья выше пятидесяти стоящих друг у друга на плечах человек, и стоило небу измениться, как листья обернулись птицами, что унеслись прочь. Мы шли через луга, карликовые кусты и сорняки, вымахавшие выше колен, зато деревьев не было. Луга, куда ни кинь взгляд – луга, а это означало, что следившим за нами мы были видны. Я ничего не говорил. Луга простирались с остатка ночи до первых признаков дня, когда все серое. Запах Леопарда вел вперед, как по ниточке или как по дороге. Дважды мы сближались так, что видели его, бегущего на всех четырех с привязанным на спине малышом. Однажды рядом с ним бежали три леопарда и оставили нас в одиночестве. Мы проходили мимо слонов, львов и вспугнули нескольких зебр. Прошли сквозь чащу деревьев-скелетов, на каких болталась малость листьев, похожих на кости, и их шепот звучал громче. А мы все бежали.

Мы не остановились занявшимся утром, которое проглядывало робко, будто готово было передумать. Четвертый день, как мы с Кавой вышли в путь. По словам малютки-женщины, кто бы ни шел за нами, они спали днем и охотились ночью. Вот мы и перешли с бега на шаг. После леса из деревьев-скелетов воздух опять стал влажным, густым, когда проходил по носу в грудь. У деревьев опять появились листья, и листья становились темнее и больше. Мы пришли к полю из деревьев, больше каких я во всем свете не видел. Попробуй я определить их высоту в людях, так со счета сбился б. Они и деревьями-то не были: из земли пробивались скрючен-

ные пальцы похороненных гигантов, покрытые травой, ветками и зеленым мхом. Гигантские стебли рвались из земли в самое небо, гигантские стебли впивались в землю, как разжатый кулак. Я прошел мимо одного такого – рядом с ним был я мышкой. Земля повсюду вздымалась возвышенностями и холмиками, нигде не была ровной. Везде так и казалось, что вот-вот еще один гигантский палец вырвется из-под земли, а за ним потянется кисть, рука и целиком зеленый человек выше пятиста домов. Зеленый и зелено-коричневый, темно-зеленый, зеленый с голубым отливом, а еще изжелта-зеленый. Целый лес их.

– Эти деревья сошли с ума, – сказал я.

– Мы подошли близко, – сказал Кава.

Туманная морось разбивала свет на голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный и еще цвет, какого я не знал.

Сто или сто и еще один шаг прошли – все деревья склоняются в одну сторону, едва не сплетаясь вместе. Стволы, росшие на север и юг, восток и запад, взмывали, снижались, переплелись друг с другом, потом опять оказывались на земле, подобно сумасбродной клетке, чтоб держать кого-то или что-то хранить. Кава запрыгнул на один ствол, склонившийся так низко, что почти плашмя лежал на земле. Ветвь его была широкой, как тропа, роса на мху делала эту тропу скользкой. Мы прошагали по всему стволу и спрыгнули на другой, склонившийся ниже, опять пошли вверх и так, прыгая со ствола на ствол, шли вверх, потом вниз, потом кругом столько раз, что лишь после третьего раза я заметил, что мы идем вниз головой, но не падаем.

– Так вот они, заколдованные леса, – произнес я.

– Эти леса станут буйными, если ты не заткнешься, – бросил Кава.

Мы прошли мимо державшихся на ветке трех сов, те кивнули малютке-женщине. У меня ноги горели, когда мы наконец-то прорвались в небо. Облачка были хилые, как морозное дыханье, а солнце желтое и скудное. Плавало перед нами в тумане. По правде, оно на ветвях держалось, зато стены к стволам прилаживались и поросли теми же цветами и мхом. Дом, устроенный в дереве под цвет горы. Я так и не понял, возводили дерево вокруг ветвей или ветви проросли, чтобы защитить его. По правде, там было три дома, все из дерева и глины с тростниковыми крышами. Первый был небольшой, будто хижина, не больше чем на шесть голов выше человеческого роста. Вокруг домика бегали дети и залезали в небольшой лаз спереди. Ступеньки вились вокруг дома и вели к дому над ним. Не ступеньки. Выпрямленные ветви образовывали ступени, словно деревья играли их роль.

– Это и есть заколдованный лес.

Ветви-ступени вели ко второму дому, побольше, с огромным лазом вместо двери и тростниковой крышей. От крыши поднимались ступени, ведшие к домику поменьше безо всяких лазов и дверей. Дети влезали и вылезали, смеясь, вопя, крича, визжа, охая и ахая. Голые и измазанные, все в глине или в одежках, какие были им слишком велики. В лаз второго дома выглядывал Леопард. Голый малыш ухватил его за хвост, и он обернулся, сердито ворча, а потом лизнул малыша в головку. Еще больше детишек выбежали встречать Каву. Они навалились на него всей кучей разом, хватая за ногу или за руку, а один даже забрался ему на скользкую спину. Кава засмеялся и опустился на пол, чтоб малыши могли ползать и бегать по нему. Какая-то малютка ползла по его лицу, размазывая белую глину. По-моему, как раз тогда я в первый раз и увидел его лицо.

– Когда-то это было местом, где Король держал жен, какие ему надоели, а заодно и их матерей, – сказал Кава. – Каждый ребенок тут – минги.

Ну, этого он мог бы и не говорить.

– И ты тоже был бы таким, если бы твоя мать верила по старинке, – произнес женский голос прежде, чем я увидел женщину. Голос ее был громким и грубым, будто ей горло песком чистили. Несколько ребятишек убежали с Леопардом. Затем я увидел ее одеяние до полу, одеяние, каких не видывал с самого города: желтое с зеленым узором из извивающихся змей пла-

тье колыхалось, и змеи казались живыми. Женщина спустилась по ступеням в комнату, какая на самом деле была прихожей, открытым местом со стеной спереди и сзади, а с боков открытое ветвям, листьям и небесной мгле. Платье доходило ей до полной груди, левую грудь сосал пацан. Красно-желтая повязка делала голову похожей на всполох пламени. На вид она казалась старше, но, когда подошла поближе, я увидел уже виденное не раз: женщина не состарившаяся, а исстрадавшаяся. Пацан сосал истово, закрыв глаза. Она схватила меня за подбородок и заглянула в лицо, склонив голову набок и вперив глаза в глаза. Я попытался выдержать ее взгляд, но отвел глаза. Она засмеялась, отпустила меня, но продолжала пристально смотреть на меня. Бусы за бусами ожерельевой горкой вздымались у нее на шее до самого подбородка. Под нижней губой свисало проколотое в коже кольцо. Двойной узор точечных отметин, изгибаясь над бровями, шел от левой щеки и опускался на правую. Мне этот знак был знаком.

– Ты гангатомка, – сказал я.

– А ты не знаешь, кто ты такой, – отозвалась она. Опустила взгляд и оглядела меня всего, с ног до головы, которая успела зарасти, но не так буйно, как у Леопарда. Смотрела она на меня так, будто я отвечал на вопросы, не раскрывая рта.

– Но что ты можешь знать, крутясь тут с этими двумя парнями.

Она улыбнулась. Оба парня по-прежнему играли с малышней. Малыш сидел у Леопарда на спине, а Кава ухал и глаза сводил, играя с девочкой белее речной глины.

– Такого ты никогда не видел, – сказала она.

– Альбиноса? Никогда.

– Зато название знаешь. Городское образование, – сердито фыркнула она.

– От меня все еще несет городом?

– Ты из мест, где родившийся ребенок не считается проклятием богов, какого бы цвета он ни был. Болезнь приходит в семью, бесплодие приходит к женщине. Так лучше выбросить ее на поживу гиенам и молиться за еще одного ребенка.

– Я из никакого места. У крокодилов на охоте сердца благороднее, чем у ваших людей буша.

– И где же живут благородные сердца, мальчик, в городе?

– Мальчиком как раз меня мой отец зовет.

– Мать богов, да среди нас мужчина!

– Никто не отдает ребенка гиене или грифу. Вызывают сборщицу детей.

– А что твоя сборщица делает с ними в твоем драгоценном городе? Какую пользу извлекли бы из девочки вроде нее? – Она указала на альбиноса, которая хихикнула. – Сперва оповещают, посылая птиц в небо или отбивая в барабаны на земле, может, даже пишут на листьях или бумаге тем, кто прочесть сможет. Сообщают: смотри, мол, мы ребенка-альбиноса поймали. Кто эти люди? Говори мне, маленький мальчик. Ты знаешь, какие люди?

Я кивнул.

– Колдуны и торговцы, продающие колдунам. За целого ребенка твоя сборщица может получить хорошую цену. Но для подлинной наживы она продает дитя по частям тем, кто больше всего заплатит. Голову – болотной ведьме. Правую ножку – бесплодной женщине. Толченые косточки – твоему дедушке, чтоб у него так стоял, чтоб на нескольких женщин хватило. Пальчики идут на амулеты, волосы – на что угодно, что вурдалак тебе присоветует. Толковая сборщица детей может за свою расчлененку получить в пятьдесят раз больше, чем за продажу целого ребенка. И вдвойне за альбиноса. Твоя сборщица даже сама детей на куски режет. Ведьмы платят больше, если знают, что дитя еще живым было, когда его кромсали. Страх крови – основа их снадобий. Настолько, что благородные женщины твоего города могут держать при себе своих благородных мужчин, и настолько, что ваши наложницы никогда не вынашивают детей для своих господ. Вот что творят они с маленькими девочками, такими, как она, в городе, откуда ты пришел.

– Откуда ты знаешь, что я из города пришел?

– Запах выдает. И ты не привычен стоять смирно.

Она не стала насмехаться, подумалось мне, думавшему, что станет. Тот город не был моим, чтоб его оправдывать. Те улицы и те пышные здания ничего, кроме отвращения, у меня не вызывали. Только мне не нравилось, что она говорила так, будто много лет ждала, над кем бы посмеяться. Я рос докучливым, мужчины и женщины глянут на меня раз-другой и считают, что такие, как я, им известны, тут и узнавать-то почти нечего.

– Зачем Кава привел меня сюда?

– Думаешь, я просила его привести тебя?

– Игры, они для мальчиков.

– Тогда уходи, маленький мальчик.

– Если только не ты велела ему привести меня. Что тебе надо, ведьма?

– Ты называешь меня ведьмой?

– Ведьма, карга старая, гангатомская сучка крапчатая. Выбирай себе по вкусу.

– Тебя ничто не заботит.

– И карга старая с дитем, сосущим сиську, в какой нет молока, этого не изменит.

Улыбка исчезла с ее лица. Брови сошлись, образовав жуткую морщину посреди ее лба. Насупленность сделала меня бесшабашнее. Я убрал руки и сложил их. Нравлюсь – мне нравится. Не нравлюсь – я обожаю. Презираешь – переживу. Отвращение питаешь? Могу в ладонь поймать и сильно сжать. А если ненависть, так я в ненависти могу немало дней прожить. А вот самодовольная безразличная улыбочка на чьем-то лице вызывает во мне желание стесать ее начисто мечом *нгулу*[15]. Кава с Леопардом оба перестали играть и посмотрели на нас. Мне казалось, что она бросит малыша и, наверное, даст мне оплеуху. Но она по-прежнему прижимала его к себе, глаза малыша были по-прежнему закрыты, а губы засасывали ее сосок. Она улыбнулась и отвернулась. Но не раньше, чем глаза мои сказали ей, что так-то будет лучше, когда между нами есть понимание. Ты меня знаешь, но и я тебя тоже знаю. Я по запаху мог бы уяснить про тебя все, когда ты еще и по тем ступеням не сошла.

– Может, вы привели меня сюда, чтобы убить. Может, ты послала за мной, потому что я ку, а ты гангатомка.

– Ты ничто, – произнесла она и пошла опять наверх.

Леопард рванул к стене и выпрыгнул на дерево. Кава сидел на полу, скрестив ноги.

Семь дней я держался от этой женщины подальше, и она избегала меня. Только дети останутся детьми, и не будут они ничем иным. Я нашел свободную тряпку, приготовленную для детей, и обернул ею себя по талии, заявляя о своем праве быть ку и уважать это. По правде, я чувствовал, будто в меня вновь вселился город и человек буша из меня не получился. В иные разы я клял свою суетность и гадал, был ли когда мужчина или мальчик, кто так суетился бы над тряпкой. В пятую ночь я убеждал себя, что так я и не одет, и не раздет, а что чувствую, то и делаю или не делаю. В седьмую ночь Кава рассказал мне про минги. Он показывал на каждого ребенка и рассказывал мне, почему его родители предпочли убить малыша или бросить его, обрекая на смерть. Последним повезло: брошенных, их нашли.

Иногда старейшины требуют удостовериться, что ребенок мертв, и мать или отец топит дитя в реке. Он рассказывал это, сидя на полу посреди дома, пока дети спали на циновках и шкурах. Указал на девочку с белой кожей:

– Она цвета демонов. Минги.

Один мальчик с большой головой пытался поймать светляка.

– У него верхние зубы выросли прежде нижних. Минги.

---

[15] Тяжелый кованый меч с серповидным концом клинка, когда-то применявшийся, в частности, западноафриканскими палачами племени нгулу для отсечения головы.

Еще один мальчик, уже уснувший, все еще тянул вверх правую руку, хватая воздух.

– Его брат-близнец умер с голоду, прежде чем мы смогли спасти обоих. Минги.

Хромая девочка с вывернутой левой ногой прыгала на свое место на полу.

– Минги.

Кава взмахнул руками, ни на кого не указывая:

– А некоторых женщины родили вне брака. Убираешь минги – убираешь позор. И тогда можно выйти замуж за мужчину, у кого семь коров.

Я смотрел на детей, большинство из них спали шумно. Ветер стих, и листья покачивались. Не скажу, много ли луны тьма поглотила, но свет был достаточно ярким, чтобы видеть глаза Кавы.

– Куда идут проклятия? – спросил я.

– Что?

– Все эти дети проклятые. Держать их здесь – значит накладывать проклятие на проклятие. Эта женщина ведьма? Умеет ли она снимать проклятия, вышедшие из лона? Или она просто собирает их тут?

Не могу описать выражение его лица. Только дед мой все время, целый день смотрел на меня так же в день, когда я ушел.

– Быть дураком – это тоже проклятие, – выговорил Кава.

Четыре

А вот еще что я увидел, ведь пробыл там две луны.

Леопард не спал в доме на полу, даже в человечьем облике. Каждый вечер он взбирался повыше на дерево и засыпал между двумя ветвями. Во сне обращался в человека – я видел это – и никогда не падал. Были, однако, ночи, когда он убегал далеко-далеко. В одну ночь стояла полная луна: 28 дней как я покинул Ку. Я выждал, пока Леопард будет отсутствовать подольше, и проследил его запах. На четвереньках прополз по веткам, сгибавшимся к северу, скатился с веток, торчавших на юг, и побежал по ветвям, протянувшимся плоско с востока на запад, как по дороге.

Когда я отыскал его, он только что втащил зажатое в зубах между ветками, и никогда голова его не выглядела мощнее. Антилопа. Он убил ее лапой, которая все еще сжимала ей горло. Воздух сделался тяжел от свежей дичи. Зверь вгрызся в ляжку правой ноги и оторвал ее, пробираясь к более нежному мясу на животе. Кровь залила ему нос. Леопард рвал кусок за куском, жевал и быстро заглатывал, как крокодил. Тушка едва не выскользнула из его лап, когда он увидел меня, и мы так долго глядели друг на друга, что я было подумал, уж не другой ли это леопард. Зубы его рвали розовое мясо, но глаз своих он с меня не сводил.

Ночью ведьма поднялась в верхнюю хижину, домик без дверей. Я был уверен, что она пробралась через люк в крыше, и хотел сам убедиться в этом. Леопард ушел приканчивать остатки антилопы. Туман сделался гуще: я не видел ступни своих ног.

– Вот уж чему быть, того не миновать, – донесся ее голос.

Я вздрогнул, но никого ни впереди, ни сзади не было.

– Можешь заходить, – приглашал голос.

Двери у домика не было.

– У тебя двери нет, – ляпнул я.

– У тебя глаз нет, – отозвалась она.

Я закрыл глаза, открыл, но стена оставалась стеной.

– Шагай, – позвала она.

– Так ведь нет же…

– Шагай!

Я понимал, что намерен прошибить эту стену, и клял ее и младенца, что, видать, все еще сосет ее грудь, потому как и не младенец он вовсе, а кровосос обэйфо[16], у кого свет исходит из подмышек и задницы. Закрыв глаза, я шагнул. Два шага, три шага, четыре – и никакая стена меня по лбу не ударила. Когда открыл глаза, ноги мои уже в комнате были. Она оказалась куда больше, чем мне представлялось, но меньше, чем в хижине под ней. На деревянном полу, резном повсюду, значились, как теперь я понимал, метки, заклятья, заклинания, проклятия.

– Ведьма, – выговорил я.

– Я Сангома.

– Похоже на ведьму-знахарку.

– Ты многих ведьм знаешь? – спросила она.

– Знаю, что ты пахнешь ведьмачкой.

– *Kuyi re nize sasayi*.

– Я не сирота в мире этом.

– Но ты живешь жизнью мальчика, кого не признает ни один мужчина. Слышала, отец твой умер и твоя мать мертва для тебя. Кто же ты после этого? Для твоего деда, скажем.

– Я богами клянусь.

– Каким именно?

– Мне тошны словесные забавы.

– Ты забавляешься, как мальчишка. Ты тут уже больше одной луны. Чему ты научился?

Ответил я ей молчанием. Она все еще себя не показала. Она залезла мне в башку, я понимал. Все это время эта ведьма находилась далеко-далеко и швырялась в меня своим голосом. Может, Леопард наконец-то прогрызся к антилопьему сердцу и обещал ей его. А может, и печень тоже.

Что-то нежно стукнуло меня по голове, и кто-то хихикнул. Какой-то катышек ударился мне в руку и отскочил, но я не услышал, чтоб он об пол ударился. Еще один катышек ткнулся в руку и опять отскочил, высоко отскочил безо всякого звука. Слишком высоко. Пол, по виду, был чист. Третий я поймал, как только он мне в правую руку стукнул. Ребенок опять хихикнул. Я раскрыл ладонь и увидел, как маленький козий навозный шарик отскочил от нее, как отскакивают друг от друга две магические железки. Козий шарик подпрыгнул высоко и не упал, так что я поднял взгляд.

Кто-то, вроде девочка, наяривал глиняную крышу графитом. Она свисала с крыши. Нет, стояла на ней. Нет, прикрепилась к ней и смотрела вниз на меня. Только ее платье оставалось на месте, хотя легкий ветерок дул. Одежда ее скрывала грудь. По правде, она стояла на потолке так же, как я стоял на полу. А ребятишки, все ребятишки лежали на потолке. Стояли на потолке. Гонялись друг за другом вверх, и вниз, и кругами, фырча и крича, подпрыгивая и опускаясь опять на потолок.

И что за дети? Мальчишки-близнецы, каждый со своей головой, каждый со своей собственной рукой и ногой, но сросшиеся боками и с общим животом. Маленькая девочка металась туда-сюда, вся она была из голубой дымки, а за нею гонялся малый с руками и грудью под стать его большой голове, но совсем без ног. Пацан с маленькой блестящей головой и волосами, свернувшимися маленькими пятнышками, тельце у него маленькое, зато ноги длиннющие, как у жирафа. И еще один мальчик, белый, как вчерашняя девочка, только глаза у него большие и голубые, словно ягоды. Еще девочка с лицом мальчика у нее за левым ухом. И еще три-четыре ребенка, похожие на детей от любых обычных матерей, только вот стояли вниз головой на потолке, на меня смотрели.

Ведьма приблизилась ко мне. Я мог бы тронуть ее макушку.

---

[16] Персонаж западноафриканской мифологии, вампир, способный принимать облик не только зверя, но и любого человека. Вечно голодный, пожирает все, что попадется, в том числе животных и людей.

– А ведь может так быть, что мы стоим на полу, а ты – на крыше, – сказала она.

И стоило ей это произнести, как я оторвался от пола и быстро руки выставил, прежде чем башкой в потолок врезаться. Голова у меня кругом шла. Дымчатое дитя появилось передо мной, только я не испугался и не удивился. Думать времени не было, но я все ж сообразил: даже призрак-дитя прежде всего – дитя. Рука моя прошла сквозь нее, всклубив часть ее дыма. Девчушка насупилась и бегом ринулась в воздух. Сросшиеся близнецы выросли из пола и наскочили на меня. «Поиграй с нами», – просили они, но я ничего не говорил. Они стояли, уставившись на меня, одна полосатая набедренная повязка покрывала их обоих. Правый малыш носил на шее голубое ожерелье, левый – зеленое.

Мальчик с длинными ногами склонился ко мне на прямых ногах, скрытых в свободных, колышущихся штанах вроде тех, что носил мой отец. Того цвета, какого я не знал. Как красный глубокой ночью. «Пурпурный», – подсказала ведьма. Длинноногий мальчик разговаривал с близнецами на языке, мне не известном. Все трое смеялись, пока ведьма не велела им отойти. Я знал, кем были эти дети, о чем и заявил ей. Они были *минги* в полном цвету их проклятия.

– Ты ходил когда-нибудь во дворец мудрости? – говорила она, прижав одну руку к боку, а второю обвив младенца, которому больше не хотелось сосать ее сосок. Я каждый день проходил мимо этого дворца и не раз заходил туда. Двери его были всегда открыты, как бы заявляя: мудрость открыта всем, – но для уроков ее я был слишком молод.

– Где этот дворец?

– Где этот дворец? В городе, из какого ты убежал, мальчик. Ученики постигают подлинную природу мира, а не глупости стариков. Дворец, где они возводят лестницы, чтобы добраться до звезд, и создают искусства, какие ничего общего не имеют с добродетелью или грехом.

– Такого дворца нет.

– Даже женщины ходят учиться мудрости учителей.

– Значит, если боги есть, то такого места нет.

– Жаль. Один день мудрости научил бы тебя, что ребенок не несет проклятие, даже тот, даже те, рожденные духом, чтобы умереть и родиться вновь. Проклятие посылается изо рта ведьмы.

– Какой ведьмы?

– Ты боишься ведьм?

– Нет.

– Бойся своей большой лжи. Каких же это женщин ты собираешься раздевать с таким-то распутным ртом? – Одна долго-долго смотрела на меня. – Как это раньше я это упустила? Мои глаза слепнут от вида женоподобных мальчишек.

– Мои уши вянут от слов ведьм.

– Им следовало бы увянуть оттого, что ты ведешь себя как дурак.

Я сделал один шаг к ней, и вся ребятня замерла, глядя на меня во все глаза. Пропали все улыбки.

– Дети ничего не могут поделать с тем, как они рождаются, в этом у них нет никакого выбора. А вот быть дураком – это выбор.

Дети опять повели себя как дети, но сквозь шум их игр я слышал ее:

– Будь я ведьма, подобралась бы к тебе приятным мальчиком, ведь такого нутру твоему подавай, скажешь, не так? Будь я ведьма, я бы призвала толокошу[17] какого, обдурила бы его, что ты девчушка, и убедила бы насиловать тебя каждую ночь, пока он невидим. Будь я ведьма,

[17] В мифологии зулу *толокоша* не столько злой, сколько озорной, живущий в воде дух-карлик, которого злые люди призывают чинить неприятности другим.

всех этих детей до единого поубивала бы, порезала да продала бы на Малангике[18], на рынке ведьм. Я не ведьма, дурак. Я убиваю ведьм.

Через три ночи после первой луны я проснулся от бури в хижине. Но дождя не было, а ветер носился из одной части домика в другую, опрокидывая кувшины и ведра для воды, дребезжа полками, взметая сорговую муку и будя кого-то из ребят.

– Бесы тревожат ее сон, – с этими словами Сангома побежала к Дымчушке.

На шкуре Дымчушка растрясала форму своего же тела. Ее стонущее личико было твердым, как кожа, а остальное пропадало в дымке, готовой вот-вот исчезнуть. Из ее личика пробивалось другое лицо, сплошь дымчатое, с ужасом в глазах и кричащим ротиком, оно дрожало и гримасничало, будто доходило до пределов терпения. Трижды Сангома хватала ее за щеки, но кожа тут же обращалась в дым. Она опять кричала, только на этот раз мы ее слышали. Проснулось еще больше ребят.

Сангома по-прежнему старалась схватить ее за щеку, орала девочке, чтоб та просыпалась. Стала шлепать ее, надеясь, что обращение из дымки в кожу будет проходить достаточно долго. Ладонью шлепнула она по левой щечке, и девочка, проснувшись, ударилась в рев. Она бросилась прямо ко мне и прыгнула мне на грудь, отчего я бы с катушек слетел, не будь девочка весом воздуху под стать. Я потрепал ее по спинке, и рука прошла всю ее насквозь, так что я погладил опять, уже нежнее. Порой она становилась вполне твердой, чтоб это почувствовать.

Порой я ощущал ее ручонки вокруг своей шеи.

Сангома кивнула Жирафленку, который тоже пробудился, и тот пошел через спящих ребят, добрался до стены, где дымчатая спрятала что-то под белым листом. Он схватил это, Сангома вручила мне факел, и все мы вышли из хижины. Девчушка спала, по-прежнему обнимая меня за шею. Снаружи все еще стоял глубокий мрак. Жирафленок поставил фигурку на землю и снял листок.

– *Нкиси*[19]? – спросил я.

– Кто показал тебе его, – произнесла Сангома, и это прозвучало не как вопрос.

– В дереве колдуна. Он рассказал мне, кто они такие.

Она стояла себе, глядя на нас, как дитя. Фигурка, вырезанная из самого твердого дерева и убранная в бронзу и ткань, с раковиной каури на месте третьего глаза, с торчащими из спины перьями и десятками десятков колючек, вбитых ей в шею, плечи и грудь.

– Он не носил никакого шлема, – сказал я.

– Это нкиси Нконди. Я же говорила тебе, что я не ведьма. Силы потустороннего мира влекутся к этому вопреки мне, иначе я бы сошла с ума и вступила бы в сговор с бесами. Как ведьма. В голове и животе есть снадобье, но это Нконди, охотник. Он охотится за злом и карает его.

– Девчушка? Ей просто тревожно спалось. Как и всякому ребенку.

– Да. И мне есть что передать тому, кто тревожил.

Она кивнула Жирафленку, тот вытащил колючку, вбитую в землю. Взял колотушку и забил колючку в грудь нкиси.

– *Mimi waomba nguvu. Mimi waomba nguvu. Mimi waomba nguvu. Mimi waomba nguvu. Kurudi zawadi mari kumi.*

– Ты что сделал?

Жирафленок укрыл нкиси, но мы оставили его снаружи. Я взял девчушку, чтобы уложить ее, и она была твердой на ощупь. Сангома взглянула на меня:

---

[18] Возможно, «прототипом» послужил рынок ведьм в боливийском городище (на кладбище) Серро-Кумбре в Ла-Пасе. На нем знахарки-ведьмы торгуют зельями, сушеными лягушками, лекарственными растениями, используемыми в ритуалах.

[19] *Нкиси* – в африканских верованиях это духи или объекты, в которых селятся духи.

– Знаешь, почему никто не нападает на это место? Потому что его никто не видит. Оно – как ядовитое испарение. Увы, это не значит, что сюда нельзя насылать всякие чародейства по воздуху.

– Что ты делала?

– Я возвращала дар дарителю. Десятикратно.

С тех пор, просыпаясь, я обнаруживал на себе голубенький дымок, в глазах в нос забиравшийся. Я просыпался и видел ее лежащей у меня на груди, сползающей с колена до пальцев ног, сидящей у меня на голове. Она обожала сидеть у меня на голове, делала это много раз, когда я старательно шагал.

– Я из-за тебя как слепой, – говорил я ей.

А она только посмеивалась, и это звучало дуновением ветерка меж листьев. Я раздражался, потом перестал, а потом принимал как должное то, что на голове у меня или на плечах сидело голубое дымчатое облачко. Мы с облачной девчушкой ходили с Жирафленком гулять в лес. Гуляли дотого долго, что я и не заметил, что мы уже не на дереве. По правде, я шел следом за мальчишкой.

– Куда ты идешь? – спрашивал я.

– Найти цветок, – отвечал он.

– Вон они, цветы, повсюду.

– Я иду отыскать свой цветок, – говорил он и пускался вприпрыжку.

– Тебе припрыжка, а нам скакать приходится. Помедли, дитя.

Парень принимался волочить ноги, только мне все равно приходилось шагать быстро.

– Давно вы живете с Сангомой? – спросил я.

– Не думаю, что давно. Раньше я считал дни, но их так много, – ответил он.

– А то. Большинство минги убивают прямо в первые дни после рождения или сразу, как только первые зубы прорежутся.

– Она говорила, что ты захочешь узнать.

– Кто? Что говорила?

– Сангома. Она говорила, что ты захочешь узнать, как это я минги, а такой большой.

– И каков же твой ответ?

Он уселся в траву. Я склонился, и Дымчушка мышкой скатилась с моей головы.

– Вот он. Вот мой цветок.

Жирафленок сорвал что-то маленькое, желтое, размером с его глаз.

– Сангома спасла меня от ведьмы.

– Ведьмы? Почему это ведьма не убила тебя младенцем?

– Сангома говорит, что многие купили бы мои ноги для плетеных поделок. И мальчишеская нога больше младенческой.

– А то.

– Тебя твой отец продал? – спросил он.

– Продал? Что? Нет. Он меня не продавал. Он умер.

– Ох. Если бы мой отец умер, он не продал бы меня той ведьме.

Я посмотрел на него. Чувствовал, что надо улыбнуться ему, но еще чувствовал, каким враньем стала бы та улыбка.

– Все отцы должны умирать сразу после нашего рождения, – сказал я.

Жирафленок как-то странно глянул на меня, глазами, когда дети слышат слова, какие их родители не должны бы говорить.

– Давай назовем его именем камень, проклянем его и похороним, – предложил я. Жирафленок улыбнулся.

Скажи такое о ребенке. Дети, они всегда в тебе какой-никакой толк, а найдут. И вот еще что скажи. Дети не в силах представить себе мир, в каком их не любят, ведь что же еще

человеку делать, как не любить их? Мальчик-колобок вызнал, что у меня есть нюх. То и дело подкатывает ко мне, едва с ног не сшибая, кричит: «Найди меня!» – и сразу укатывает прочь.

– Держи глаза за… – кричит он, перекатываясь через рот, прежде чем докончить: – … закрытыми.

Нюх мой был мне ни к чему. Колобок оставил за собой пыльный след на тропинке из сухой грязи и примял траву в буше. К тому же спрятался он за деревцем, какое было слишком узким для его широкого круглого живота. Когда я прыгнул сзади со словами: «Я тебя вижу!» – он глянул мне в открытый глаз и ударился в слезы, закричал, завизжал. И завыл, правда, вой издавал. Я подумал, мол, Сангома сейчас примчится с заклятьем или Леопард прибежит готовый разорвать меня в клочки. Тронул лицо малыша, погладил по лбу.

– Нет, да нет же… я обязательно… прячься снова… Я дам тебе… фруктов, нет, птичку… кончай плакать… или я…

Он уловил в моем голосе это, что-то вроде угрозы – и заревел еще громче. До того громко, что напугал меня больше демонов. Я было собирался оплеухой выбить у него плач изо рта, но тогда я стал бы моим дедом.

– Прошу тебя, – молил я. – Пожалуйста. Я тебе всю свою кашу отдам.

Колобок враз прекратил плакать.

– Всю?

– Даже на палец не возьму, чтоб попробовать.

– Всю? – снова спросил он.

– Давай прячься снова. Клянусь, на этот раз я буду только носом пользоваться.

Колобок принялся хохотать так же быстро, как прежде – плакать. Он потерся лбом о мой живот, потом укатился быстро-быстро, как ящерка по горячей глине. Закрыв глаза, я ловил его запах, но пять раз прошел мимо него, громко ворча: «Куда подевался этот постреленок?» А он хохотал все время, пока я ворчал и кричал, что я его чую.

Еще семь дней, и мы проживем у Сангомы две луны. Я спросил у Кавы, не придет ли кто из Ку разыскивать нас. Он глянул на меня так, словно его взгляд был ответом.

А вот расскажу я тебе три истории про Леопарда.

Одна. Ночь ожирела жарой. Порой я просыпался, когда запах мужчин делался сильнее, и я знал, что они приближаются – на лошади, на своих двоих или в стае шакалов. Порой я просыпался от того, что запах ослабевал, и я знал, что они уходят, ища пристанища, уходят либо ищут, где укрыться. Запах Кавы слабел, и Леопардов тоже. Луны ночью не было, но какие-то травки высвечивали во тьме тропу. Я побежал вниз по дереву и оступился на ветке. Ударился задницей, ударился головой, закувыркался, как сброшенная с обрыва глыба. Двадцать шагов в кустах, и вот они, под молодым деревом ироко. Леопард раскинулся пузом кверху, подняв лапы. Он не был человеком: шкура его была черной, как волосы, хвост хлестал по воздуху. Не был он и Леопардом: руки его хватались за ветку, толстые ягодицы шлепались по Каве, который неистово его имел.

Как сильно ненавидел я Каву, и была ли то женская прореха на кончике моего мужского достоинства, что заставляла меня ненавидеть, даже если б меж ног у меня ветка дерева была и ненависть никак не вязалась с женщиной, потому как кончик мой не был женщиной, как в той старой мудрости, какую даже колдун называл прихотью.

Мне хотелось сделать больно Леопарду – и быть Леопардом. Как почуял я животное, как запах этот становился сильнее, как люди меняют запах, когда ненавидят, имеют друг друга, потеют или убегают от страха, как я учуял это, хотя они и старались это скрыть.

А еще и такое: почему я вообще думал о них. Ни к одному я не был привязан, не был связан с судьбой ни одного из них, и, может, судьба *шога*[20] – это судьба одиночки без привязан-

[20] *Шога* – на языке суахили означает (одно из значений) мужчину-гомосексуалиста или мужчину, у которого в характере,

ности ни к кому вообще. Однажды ночью Кава сказал мне, что детей-минги они спасают уже десять и еще девять лун. Людей, кого боги сводят вместе таким горем, как варварское убийство младенцев, ждет близость, это даже я понимаю. Только я не знал, а не было рядом никого: ни отца, ни дяди, ни брата, ни сестры, не было никакого старшего или хотя бы колдуна, – кто мог бы рассказать мне, когда в походе меняют направление и двое людей ведут себя как любовники. Я смотрел на них и жалел, что не с кем мне обменяться взглядами в первый день, трахнуться во время следующей луны, а во все дни между этим сближать нас, разведенных богами. Ведь я не знаю, что происходит в такие дни. Я никогда и никому не становился близок.

Однажды сынок жившего напротив работорговца позвал меня к себе. Время около полудня, и оба наши дома пустовали. Торговца не было, и мы привели в дом шлюху. Вид у нее был, как у евнуха. Она задрала платье. Она не была евнухом. И девушкой тоже. Зато прелестна под девичью стать. И похоти у того оборотня было побольше, чем у того сынка. Он взял у сынка в рот, а мне велел вытащить мой. Два дня спустя отец сказал мне, что я вхожу в возраст и он повезет меня на южный конец города, где сделают операцию, что превратит меня в мужчину.

Мой дед. Он забыл на следующий день.

Ты нынче каким колдовством занимаешься, Инквизитор?

Шога? А то, знал, конечно. Разве такой мужчина не всегда знает? Я уже в третий раз произнес это слово, это именование, а ты все – известно ли оно мне? Как по мне, так мужчин-шога мы внутри самих себя находим, еще одна женщина, какую не вырезать. Нет, не женщина, а что-то такое, что боги сотворили и о том забыли или забыли рассказать мужчинам, может, и к лучшему. Ты станешь слушать меня, Инквизитор? Говорю, стоит шога тронуть его, потереть, жестко или мягко, или потрепать, когда мысленно он во мне, так я стоять буду тут, а семенем своим вон до той стены брызну. До крыши достану. До верхушки дерева, через реку добью до другого берега – прям какому-никакому гангатому в глаз.

Вот, в первый раз ведь слышу, как ты смеешься, Инквизитор.

Ты не впервые слышишь о мужчинах-шога. Говори о них на языке поэзии, как делаем мы на севере: мужчины, для кого первично желание. Подобно воинам Узунду, что безжалостны, потому как глаза им нужны, только чтобы видеть друг друга. Или говори о них так грубо, как делаете вы на юге, вроде мужчин мугауи, что носят женскую одежду, так, чтобы не было видно дырку, куда ты суешь. У тебя вид *баша*, покупателя мальчиков. А почему нет? Мальчики прелестные зверьки, боги дают нам соски и дырки, а решает все вовсе не член, или, по-нашему, *коу,* а золото в твоем кошельке.

Шога сражаются на ваших войнах, шога охраняют ваших невест до замужества. Мы учим их искусству быть женой и вести дом, учим красоте и тому, как доставлять удовольствие мужчине. Мы даже мужчину научим, как доставить удовольствие жене, так, чтобы она вынашивала ему детей, или так, чтоб он всю ее орошал своим молоком каждую ночь. Или чтоб она царапала ему спину и испытывала острейшие удовольствия, от каких поджимаются пальчики на ногах.

Только я не знаю ничего про искусство ублажать женщин. Иногда мы станем играть музыку тарабу[21] на коре, джембе и говорящем барабане[22], и один из нас возляжет как женщина, а другой возляжет как мужчина, и мы покажем ему сто девять поз, от каких твой любовник получит удовольствие. У вас такой традиции нет? Может, потому-то вам и нравятся ваши жены молодыми, ведь откуда бы им узнать, что любовник вы тягостный? Мы с Кавой обходимся одними только руками. Не считая одного раза, может, двух, точно не помню. По-моему, тут нет ничего странного, может, потому что я все еще ношу женщину у себя на кончике.

реакциях и суждениях много женского.

[21] *Тарабу* (точнее – *тааараба*) – самая популярная музыка на побережье Восточной Африки. Она широко известна как свадебная музыка суахили, поскольку музыканты тааараба и музыка являются неотъемлемой частью брачных празднеств.

[22] Африканские музыкальные инструменты: *кора* – это 21-струнная лютня, на которой играют, как на арфе, *джембе* – ударный барабан в форме кубка; «говорящий» барабан используют и для передачи сообщений на расстояние.

Раз я попросил колдуна срезать его, потому как ему, как известно, можно делать такое, что другим запрещено. Он глянул на меня со всей своей ушедшей мудростью, на месте какой не осталось ничего, кроме замешательства, да складки между бровями, да подслеповато сощуренных век. Колдун сказал:

– Ты хочешь еще и один глаз или, может, одну ногу?

– Это вовсе не то же самое, – заметил я.

– Если бы бог Ома, создавший человека, желал, чтоб ты срезал и явил такую плоть, он явил бы ее сам. Может, что тебе и в самом деле нужно срезать, так это дурацкую умудренность мужчин, кто все еще лепит стены из коровьего навоза.

Вторая. На следующий день Леопард лягнул меня в лицо и разбудил. Я открыл глаза, глянул ему в лицо, на его буйные заросли волос, высокие и острые скулы, узкие губы, в глаза, какие в тот раз были все еще белыми с крохотной черной точкой в центре. Я больше боялся Леопарда-мужчину, чем Леопарда-зверя. Большая голова его и широкие плечи предупреждали: он и такой может подтащить обитающего на дереве зверя втрое тяжелее себя. Он улыбнулся, а я закрыл глаза, полагая, будто грежу наяву.

Он лягнул меня в лицо и вновь пробудил. Нежно лягнул: глаза мои скорее распахнул его запах, нежели нога. Я отвернулся от него, прежде чем открыть глаза, но они глянули прямо на солнце. Леопард ступил мне на грудь. Через правое плечо у него висел лук, в левой руке он держал колчан со стрелами.

– Просыпайся. Сегодня ты узнаешь, как пользоваться луком, – сказал.

Он вывел меня из дома, вниз по скрученным стволам провел на еще одно, видимо, дальнее поле. Мы прошли мимо деревца ироко, где он дал Каве поиметь себя. За этим и за журчаньем небольшой речки – еще на одно поле, поросшее деревьями, до того высокими, что они царапали небо, чьи ветви напоминали лапы паука, спутанные вместе. Сзади волосы у него спускались с головы по шее, тянулись по спине, сходясь в точку, и пропадали над ягодицами. Волосы вновь пробивались на бедрах и спускались до пальцев на ногах.

– Кава говорил, что, когда впервые увидел тебя, пытался убить тебя копьем.

– Тоже мне рассказчик, – буркнул Леопард, продолжая шагать.

Мы остановились на поляне, шагах в пятидесяти от нас стояло дерево. Леопард снял лук.

– Ты его или он твой? – спросил я.

– Правду эта старуха говорит про тебя, – покрутил он головой.

Леопард засмеялся.

– Следом ты станешь о любви выспрашивать, – хмыкнул он.

– Пусть эта баба катится зад лизать прокаженному. Ну так есть ли в тебе любовь к этому мужчине и любит ли этот мужчина тебя?

Он глянул на меня в упор. Либо он только-только отпустил усы, либо я только что увидел их.

– Никто не любит никого, – выговорил он.

Он отвернулся от меня и кивнул на дерево. Дерево широко распахнуло объятья, приветствуя его, и открыло дупло совсем близко от места, где было бы сердце, дупло, через какое я видел насквозь. Леопард уже держал лук в левой руке, тетиву – в правой и стрелу меж пальцев. Не успел я заметить, как он поднял лук, натянул тетиву и пустил стрелу, а та беззвучно прошла сквозь дупло, Леопард же меж тем успел вынуть и выпустить другую. Вынул и выпустил еще одну, после чего протянул лук мне. Мне казалось, что тот легкий, но он оказался так же тяжел, как ребенок в лесу.

– Следи за моей рукой, – велел он и протянул ее прямо к моему носу.

Двинул влево, и глаза следили за ним. Рука его тянулась очень далеко, и я вертел шеей, чтобы увидеть, не собирается ли он шлепнуть меня или другую какую мелкую пакость учинить. Потом он повел рукой вправо, и я следил за ним глазами, пока не потерял руку из виду.

– Держи в левой руке, – сказал он.

– Твоя стрела, – произнес я.

– Что с ней?

– Она блестит, как железная.

– Она и есть железная. Ты такую никогда не видел?

– Все стрелы у ку из кости и кварца.

– Ку до сих пор убивают детей с верхними передними зубами.

Вот так Леопард учил меня убивать луком и стрелами. Держать лук со стороны того глаза, что меньше в ходу. Натягивать лук со стороны того глаза, что больше в ходу. Ноги расставлять так, чтоб они на ширине плеч были. Тремя пальцами держать стрелу на тетиве. Поднимать и натягивать лук, тянуть тетиву до подбородка – и все это махом. Цельсяв мишень и пускай стрелу. Первая стрела взлетела в небо и едва не попала в сову. Вторая ударилась в ветку над дуплом. Третья… не знаю, во что она попала, но что-то взвизгнуло. Четвертая попала в ствол около земли.

– Оно на тебя сердится, – заметил Леопард. И показал на дерево. Велел мне собрать стрелы. Я выдернул первую из ветки, и маленькая ранка затянулась. Извлекать вторую мне было страшно, но Леопард рыкнул – и я мигом вырвал ее. Повернулся бежать, но тут какая-то ветка хлестнула меня прямо по лицу. Ветка, какой раньше не было. Теперь уж Леопард хохотал.

– Я не умею целиться, – понурился я.

– Ты не умеешь смотреть, – поправил он.

Я не умел смотреть не мигая, не умел натягивать тетиву без дрожи, не умел выбрать позицию, опирался не на ту ногу. Стрелу выпустить я мог, только никак не по его команде, и стрелы всегда попадали не туда, куда я целился. Я думал, уж не целиться ли в небо, чтоб попасть в землю. По правде, не думал, что Леопард способен так долго хохотать. Однако он не ушел, пока я не послал стрелу сквозь дупло на дереве, и всякий раз, как я попадал в дерево, дерево хлестало меня веткой, какая либо всегда была там, либо ее там никогда не было. Ночное небо насупилось, прежде чем я пронзил стрелой мишень. Мы пошли обратно в хижину по тропе, какую я не узнавал: скала, песок и камень, покрытые мокрым мхом.

– Когда-то это было речкой, – сказал Леопард.

– И что с ней стало?

– Ей ненавистен запах человека, и она течет под землей, стоит нам приблизиться.

– Правда?

– Нет. Сейчас конец сезона дождей.

Я собрался уж было сказать, что он слишком долго живет с Сангомой, но сдержался. Вместо этого сказал:

– А ты – Леопард, что обращается в человека, или человек, что обращается в леопарда?

Он пошел дальше, ступая по грязи, перебираясь через валуны там, где когда-то была река. Ветки и листья скрывали звезды.

– Иногда я забываю вновь обратиться.

– В человека.

– В леопарда.

– И что случается, когда забываешь?

Он обернулся и посмотрел на меня:

– В таком обличье, как у тебя, нет никакого будущего. Меньше. Медлительней, слабее.

Я не знал, что сказать, а потому делал вид, будто я вопрос задал. Потом выговорил:

– По мне, ты выглядишь быстрее, сильнее и умнее.

– В сравнении с кем? Знаешь, что бы сделал настоящий леопард? Он бы тебя уже слопал.

Он меня не испугал, да и не хотел этого. Все, что у меня защемило, находилось ниже пояса.

– Ведьма рассказывает сказки получше, – сказал я.

– Она тебе сказала, что она ведьма?

– Нет.

– Ты знаешь повадки ведьм?

– Нет.

– Значит, ты либо говоришь через зад, либо бздишь через рот. Берегись, мальчик. Тебе уготовано жуткое кушанье. Мой отец раз обратился и забыл, как обратно обратиться. Остаток жизни провел в страданиях от этого тела.

– Где он теперь?

– Его упекли в камеру умалишенных: охотник подстерег его, когда он в образе человеческом имел гепарда. Он удрал, сел на корабль и уплыл на восток. Так я слышал, во всяком случае.

– Слышал?

– Леопарды слишком хитры, мальчик. Мы способны жить лишь в одиночку, предоставь нам таскать друг у друга добычу. Мать свою я не видел с тех пор, как сам сумел завалить антилопу.

– И ты не убиваешь детей. Это удивительно.

– Такое делает меня одним из вас. Я знаю, где находит пропитание моя мать. Видел братцев своих, только куда им бежать – это их дело, а куда я бегу – мое.

– У меня нет братьев. Потом, придя в селение, я услышал, что брат у меня был, но его убили гангатомы.

– И твой отец стал твоим дедом, Асани мне рассказывал. А твоя мать?

– Моя мать сорго варила да ноги не забывала разваливать.

– Ты мог бы жить в единой семье, а все равно разметать ее.

– К матери у меня ненависти не было. У меня к ней ничего не было. Когда она умерла, я ее не оплакивал, но и не смеялся.

– Моя мать давала мне сосать молоко три месяца, а потом кормила мясом. Этого хватило. Впрочем, я же зверь.

– Дед мой был трус.

– Если бы не твой дед, тебе бы не жить.

– Уж лучше б он дал, чем можно было б гордиться.

– Гордости-то в тебе и без того через край. Что боги-то скажут?

Он подошел ко мне так близко, что я у себя на лице его дыхание чувствовал.

– Рожа у тебя кислой стала, – сказал он.

Он впился взглядом в меня так, словно хотел добраться до пропавшего лица.

– Ты ушел, потому что твой дед трус.

– Ушел я по другим причинам.

Он отвернулся, широко раскинул руки на ходу, будто говорил с деревьями, а не со мною.

– Как же! Ты ушел цель отыскивать. Потому как просыпаться, жрать, срать и сношаться – это здорово, только ничто из этого не цель. Вот ты и искал ее, а цель привела тебя в Ку. Только твоя Ку-цель состояла в том, чтобы убить человека, какого ты даже не знаешь. Подтверждаются мои слова. В твоем обличье, каков ты есть, нет никакого будущего. Вот мы и дошли. Вот, пожалуйста, и женщины Гангатома моют своих детей прямо по ту сторону реки. Можешь пойти убить нескольких. Выправить неправедное. Даже ублажить богов с их мерзким чувством равновесия, – выговорил Леопард.

– Ты богохульствуешь?

– Богохульствовать – значит верить.

– Ты не веришь в богов?

– Я не верю в верованье. Не потому, что оно ошибочно. Я твердо верю, что в лесах будут антилопы, а в реке – рыба, что мужчинам всегда будет хотеться поиметь кого-то, и это единственная из их целей, какая мне приятна. Однако мы говорим про твою. Твоя цель – убить гангатома. Вместо этого ты бежишь к дому гангатомки и играешь с детишками-минги. Асани, как открытую книгу, я смог прочесть в один день, а вот тебя? Ты для меня загадка.

– Что ты вычитал про Асани?

– Ты можешь пройти мимо этого.

– Я уже прошел мимо этого.

– Но это все равно сидит в твоем сердце. Люди убили твоего отца и брата, и все ж гнев ты держишь на свою же собственную семью.

– Я здорово устал от людей, пытающихся прочитать меня.

– Тогда перестань разматываться перед ними, словно свиток.

– Я один.

– Спасибо богам, иначе брат твой был бы тебе дядей.

– Я не то имел в виду.

– Знаю, что ты имел в виду. Ты один. Только от этого душу твою корежит одиночество. У нас такое не в обычае. Учись не нуждаться в людях.

Я учуял хижины у нас над головами.

– Тебе как больше сношаться нравится, как мужчине или как зверю? – произнес я. Он улыбнулся. Выглядело это еще чуднее, чем его смех.

– Есть сольца́ в этом вопросе!

Я согласно кивнул.

– Ты питаешь чувство к Асани, – сказал он.

– Почему ему имя такое дали – Асани?

– Мне нравится, когда его грудь на моей груди, его губы на моей шее, нравится смотреть, как он радуется мне. Ему нравится, когда мой хвост бьется о его лицо.

– Он к тебе с любовью, а ты к нему?

– Нет, гляньте на маленькую девочку, задающую девчоночьи вопросы!

– Так ответь.

– Я о любви понятия не имею. Я понимаю голод, страх и жару. Я понимал, когда горячая кровь брызгала мне в пасть, когда я прокусывал тело свежей добычи. Асани, он был просто человеком, забредшим на мою территорию, кого я вполне мог и убить. Но он нашел меня в ночь с красной луной.

– Не понимаю.

– И не поймешь. Кстати, о территории. – Он пошел от одного дерева к другому и мочился на землю, метя ее. Подошел к дереву, что вело нас вверх, и обмочил комель. – Гиены.

Я вздрогнул:

– Гиены идут?

– Гиены уже тут. Следят за нами издали. Ты бы не смог… Нет, ты их запаха не знаешь. Они знают, кто живет тут вверху на этом дереве. Так у тебя так же? Стоит узнать запах, как можешь следовать за ним повсюду?

– Да.

– Меня?

– Да.

– И на какую даль?

– Мог бы прямо сейчас с закрытыми глазами найти своего деда, даже если он в семи-восьми днях пути. И любую из его трех дрючек, в том числе и ту, что в другой город переехала. Иногда запахов так много, что разум у меня сбой дает, во тьму уходит и возвращается со всем разом, будто я просыпаюсь среди городской площади, а все орут на меня на языке, какого я

не знаю. Когда я молодым был, так приходилось нос прикрывать: едва не до смерти мучился, когда они орали слишком громко. До сих пор иногда крышу сносит.

Леопард долго смотрел на меня. Я смотрел в сторону на светящиеся во тьме сорняки и старался распознать, как они выглядят. Когда я вновь повернулся к нему, он по-прежнему смотрел на меня.

– А незнакомые тебе запахи? – спросил он.

– Бздех вполне может и цветок выпустить.

Третья история.

Ночь потребовалась мне, чтоб понять, что мы уже две луны как тут.

– Десять и еще семь лет я обучалась во время *тваса*[23] тому, что должна знать и уметь настоящая сангома, – сказала она.

Я забрался в самую маленькую хижину: в то и каждое утро я чувствовал ее зов. Дымчушка взлетела по моим ногам и груди и уселась на голове. Колобок попрыгивал у меня в ногах. Сангома играла с белыми бусами, которые за три ночи до этого схоронила в красной грязи. Я заметил, что она больше не давала грудь малышу. Малыш упрямо с разбегу бухался в стену, отходил назад, бросался к стене – снова и снова, а она не останавливала его. Накануне Сангома известила меня, что Леопард поведет меня учиться стрелять из лука. Я только то и узнал, что очень здорово умею бросать топорик. Даже два разом.

– Десять и еще семь лет непорочности, самоуничижения себя самой перед предками я постигала прорицание и искусство наставницы, которую я звала *Иянга.* Я училась с закрытыми глазами находить спрятанные вещи. Врачеванию, избавляющему от колдовства. Эта хижина священна. Все предки живут тут, предки и дети, кое-кто из них – вновь рожденные предки. Некоторые просто дети, наделенные способностями. Так же, как и ты, ребенок со способностями.

– Я не…

– Скромен, верно. Это-то ясно, мальчик. Еще ты и нетерпелив, не умен и даже не очень-то силен.

– И все ж вы с Кавой и Леопардом затащили сюда этого никчемного мальчика. Мне уйти?

Я повернулся, чтобы уйти.

– Нет!

Получилось у нее громче, чем она хотела, – и мы оба это понимали.

– Делай, как хочешь. Ступай назад к своему деду, представляющемуся твоим отцом, – произнесла она.

– Чего ты хочешь, ведь… Сангома?

Она кивнула малому с длинными ногами. Он пошел в дальний угол комнаты и вернулся с подносом из плетеного бамбука.

– Во время моего *тваса* наставница предрекала мне, что я буду видеть далеко. Слишком далеко, – сказала Сангома.

– Тогда закрывай глаза.

– Тебе нужно уважать своих старших.

– Буду, когда встречу старших, кого смогу уважать.

Она рассмеялась:

– Столько много всякой всячины выходит из твоей дыры спереди, что стоит ли удивляться, как много лезет тебе в ту, что сзади.

---

[23] *Тваса* (укутваса) – период посвящения, которому подвергаются, чтобы стать сангомой. Родившаяся сангомой, противоведьмой, нуждается в обучении, обретении навыков и знакомств, чтобы полностью овладеть своими способностями.

У нее не было намерения доводить меня до обиды. Или слушать меня, или ловить мой запах. Или сообщать новости о луносветлом малом или Леопарде. Ни на единое мгновение.

– Чего ты хочешь?

– Взгляни на эти кости. Я бросаю их каждую ночь вот уже луну и еще двадцать ночей, и всякий раз они ложатся одинаково. Первой падает кость гиены, а значит, мне следует ждать охотника. И вора. Сразу после первой ночи, как ты пришел.

– Это уведомление меня опередило.

– Зачем во благо дается зрение? Я знаю двоих, кто мог воспользоваться им получше тебя.

– Женщина…

– Я ничуть не закончила. Воспользуйся носом, какой тебе боги даровали, или в следующий раз ты гадюки не заметишь.

– Тебе нужен мой нюх?

– Мне нужен малец. Уже семь ночей как он пропал. Кости говорят мне, только я думала, что ни один малец не убежит далеко от доброй пищи.

– Доброе – это не…

– Не перечь мне, мальчик. Он перестал верить, как ребенок, перестал верить тому, что я твердила ему в течение всех этих лун. Воровкой детей назвал он меня! Увы, так уж повелось: какой ребенок захочет знать, что его собственная мать бросила его на съедение диким псам? Назвал он меня воровкой детей, потом ушел искать свою маму. Даже ударил меня, когда я встала на его пути. Дети мои были слишком потрясены, не то и вправду убили бы его. Он спрыгнул с дерева и побежал на юг.

Я оглянулся. Понял: кое-кто из этих детей мог бы убить меня, глазом не моргнув.

– Ты получишь мальца обратно.

– Этот паршивец может скукожиться, залезть своей маме в коу и пришить пуповину к своему животу – это меня не заботит. Но он украл кое-что драгоценное для меня.

– Камень драгоценный? Доказательство того, что ты женщина?

– Проклятым окажется день, когда твой разум угонится за твоим языком. Желчный пузырь козла, принесенного в жертву на церемонии моего посвящения. Он с тех пор был у меня в волосах. Сбежал он утром, но выкрал его раньше, ночью, когда я спала.

– Украл с твоей собственной головы!

– Пока я спала.

– Я думал, околдованные спят чутко.

– Что ты знаешь про околдованных?

– Что их любая мелочь разбудить может.

– Должно быть, потому ты и бродишь по ночам.

– Я не…

– Надеюсь, ты отыщешь, что ищешь. Хватит. Я должна пузырь вернуть. Тебе нравится болтать про ведьм. Так вот, без него ведьмы прознают про это место. Моим чарам не сдержать их всех. Прежде чем сказать мне, что тебе плевать на моих детей, знай: я уже знаю об этом. Тебе безразличны дети, зато не будет безразличной золотая монета, раз уж ты не оставил ни одной в доме своего деда.

– Нет никакой нужды в золоте в селе…

– Ты никогда больше не вернешься в то селение.

Она глянула на меня твердо, похожий на рубец узор вокруг ее глаз делал их лютыми. Я первым отвел взгляд.

– Забирай монеты и отыщи пацана.

Она послала нас с Леопардом. У него, сказала, тоже нюх есть.

– Почему б мне просто не взя…

Она швырнула мне в лицо набедренную повязку. Вонь ринулась мне в нос – я и дохнуть не успел.

– Потому что я знаю, как этот нюх действует, мальчик. Тебе ни за что не перестать разыскивать того, кто оставил запах, иначе это доведет тебя до безумия.

Она была права. Знать этого я никак не мог, зато почувствовал, как только Сангома высказалась. И не знал, что смогу возненавидеть ее еще больше.

– Бери монеты и отыщи пацана.

Она посылала со мной Леопарда. У него тоже нюх есть, пояснила. Я думал, она собирается отправить меня с Кавой. По виду Леопарда не скажешь, был он доволен или недоволен. Только перед самым нашим уходом я увидел их на крыше третьей хижины: Кава размахивал руками, как сумасшедший, Леопард же выглядел, как обычно. Кава бросил палку, и Леопард молнией взлетел к нему, вцепившись рукой юноше в горло. Кава засмеялся. Леопард отпустил его и пошел прочь.

– Следи, куда этот котяра долбаный ведет тебя, – предупредил меня Кава, когда мы с ним вскоре увиделись.

Я наполнял винные бурдюки водой из реки. И вот что произошло. Я спустился к реке наполнить мехи, потом отыскал красную грязь и белую глину. Провел белую линию, разделив ею лицо. Потом еще одну – прямо по надбровью. Потом красные линии на щеках и по ребрам, которые выдавались все больше, что не так меня беспокоило, как мою мать.

– Он никуда меня не ведет, – отозвался я. – Я иду отыскать того пацана.

– Следи, куда поведет тебя этот долбаный котяра, – повторил Кава.

Я промолчал. Пытался нанести раскраску позади коленей. Кава подошел ко мне сзади и зачерпнул горсть белой глины. Втер ее мне в ягодицы и ноги до колен и ниже, до самых икр. Я не стал говорить ему, что наносил другой узор.

– Леопарды животные хитрые. Тебе известны их повадки? Знаешь, почему они в одиночку бегают? Потому что они даже собственную породу предать готовы, да еще и за добычу, к какой и гиены не притронулись бы.

– Он тебя предавал?

Кава поднял на меня взгляд, но ничего не сказал. Он натирал мои бедра. Мне хотелось, чтоб он перестал.

– После того как вы вдвоем отыщете пацана, он намерен податься в южные земли. Луговые земли сохнут, и добыча портится.

– Если ему хочется.

– Он слишком долго был человеком. Охотники в две ночи его укокошат. Охотиться теперь опасней: полно зверей, что пополам его порвут. А у тамошних охотников отравленные ядом стрелы, и там убивают детей. Там есть звери больше этих деревьев, растут стебли трав, что обожают кровь, звери, какие п…

– Порвут его пополам. Тебе что нужно, чтоб он сделал?

Кава смысл с рук глину и принялся выводить узор на моих ногах.

– Он уйдет от меня, забудет эту женщину и ее проклятых детей. Это он придумал спасать их и сюда приводить, не я. Жить им или помереть – дело богов. Кто живет наверху?

– Я не…

– Она каждый день носит туда еду. Теперь тебя водит.

– Завидуешь.

– Тебе? Да моя кровь – это кровь вождей!

– Я тебе не вопрос задавал.

Он рассмеялся:

– Ты хочешь поиграть в ее темное искусство, и недовольные создания сделают, как ты пожелаешь. Но Леопард идет со мной. Мы возвращаемся в селение. Между нами: мы убили людей, повинных в смерти моей матери.

– Ты говорил, что родных твоих убил ветер. Ты говорил…

– Я знаю, что я говорил, я был там, когда говорил это. Леопард сказал, что как-нибудь он подстроит так, что вы вдвоем найдете пацана. Скажи ему, что ты решил не искать.

– И потом?

– Я все сделаю, чтоб он понял, – произнес Кава.

– В твоем обличье нет будущего.

– Что?

– Кто-то сказал мне на днях, – сказал я.

– Кто? Никто не проходил в этом месте. Ты так же сходишь с ума, как и эта сука. Видел я тебя на крыше той хижины, стоишь, воздух обнимаешь и играешь с ним, как с ребенком. Она заразила это место. Что тебе известно об этом пацане? Что он удрал, потому что он неблагодарный? Она называла его вором? Может, убийцей?

Он встал и смотрел на меня.

– Называла, значит? Место-то для твоих собственных мыслей оставила, или там у тебя одни ее? Ты скоро и сам заговоришь, как она. Пацан побег совершил, – заявил он.

– Ни в одной из известных мне тюрем нет всего двух стен.

– Чего ж он тогда сбежал?

– Он думает, что родители каждую ночь оплакивают его. Что он не минги.

– И кто говорит, что он врет? Сангома? Какое у нее есть доказательство? Ни один из здешних детей еще не вырос настолько, чтобы понимать как-то по-другому. Сангома прожила на деревьях десять лет, так где же дети, что повзрослели? Теперь ты и это животное отправляетесь охотиться за одним таким и вернете его. Что ты сделаешь, когда он скажет: нет, не пойду я обратно с вами?

– Теперь я тебя слышу. По-твоему, и Леопард для нее тоже дурак.

– Леопард совсем не дурак. Его-то я понимаю. Ему все равно. Она говорит: ступай на восток – и он идет на восток, покуда там есть рыба и бородавочники жирные. В душе же своей ему на все плевать…

– Не то что в твоей – яростью так и пышет.

– Вы двое трахались в лесу, – выпалил он.

Я глянул на него.

– Он сказал мне, что учил тебя из лука стрелять. Зверь долбаный, он меня сказками кормил.

Я счел за благо не отвечать. Оставить его в неведении или сказать, мол, ничего подобного не было и не будет, чтоб ему покойней стало? Только еще я подумал: а обделайся все боги с его нуждой в покое.

– Никогда он тебя не полюбит, – обронил Кава.

– Никто не любит никого, – сказал я.

Он ударил меня в лицо, прямо в скулу, и сбил меня с ног прямо в грязь. И прыгнул на меня, пока я еще подняться не успел. Коленями придавил мне руки и опять ударил в лицо. Я коленями ему в ребра. Кава вскрикнул и свалился. Только я кашлял, задыхался, плакал, как маленький, и он опять на меня навалился. Мы покатились, и я стукнулся головой о камень – небо посерело, потом почернело, грязь проваливалась, слюна его била мне в глаз, а я Каву даже не слышал, только видел его широко разинутую глотку. Мы скатились в речку, руки Кавы оплели мне шею, он окунал меня в воду, вытаскивал, опять окунал, вода заливала мне нос. Леопард прыгнул Каве на спину и куснул его в шею. Сила удара сбросила обоих в реку. Я подобрался и увидел, что Леопард все еще держит Каву за шею и вот-вот примется трепать его, как

куклу. И я закричал. Леопард выпустил его, но зарычал. Кава, шатаясь, отступил подальше в реку и тронул себя за шею. Когда он отнял руку, та была в крови. Кава посмотрел на меня, потом на Леопарда, все еще выписывавшего круги в речке, все еще дававшего понять, где преступать черту негоже. Кава повернулся, взбежал на берег и ринулся в кусты. Шум возни привлек Сангому, которая спустилась с Жирафленком и Дымчушкой, та промелькнула у меня перед глазами и опять исчезла. Леопард успел обратиться в человека, и мы пошли мимо Сангомы к хижине.

– Не забывай, для чего я посылала за тобой, – сказала она мне.

Бросила мне плотную простыню, когда я выбрался из реки. Я подумал: мне, чтоб вытереться.

– Она вся пропахла этим пацаном.

– Этот пацан у меня в носу застрянет на долгие луны.

– Тогда тебе лучше пошевеливаться и найти его, – сказала Сангома.

Мы взяли два лука, стрелы, два кинжала, два топорика и отправились еще до света.

– Нам искать пацана или убить его? – спросил я Леопарда.

– Он впереди нас на семь дней. Вопросы твои на случай, если кто-то найдет его первым, – произнес тот у меня за спиной, веря в мое чутье, хотя сам я не верил. В одном месте запах пацана был слишком силен, в другом – чересчур слаб, даже если путь его пролегал прямо передо мною. Две ночи спустя след его все еще опережал нас.

– Почему он на север не пошел, обратно в селение? Почему на запад подался?

Я остановился, и Леопард прошагал мимо, повернул на юг и остановился в десяти шагах. Нагнул голову, обнюхивая траву.

– Кто сказал, что он из вашего селения? – спросил.

– Он не на юг пошел, если ты стараешься парня унюхать.

– Он – твоя забота, а не моя. Я ужин вынюхивал.

Не успел я и слова в ответ сказать, как он двинул на всех четырех и исчез в чаще. Местность была сухая, деревья тощие, как палки, будто изголодались по дождю. Почва красная и плотная, с потрескавшейся грязью. На большинстве деревьев не было листвы, и ветки путались с ветками, какие путались с веточками такими тонкими, что я принял их за колючки. Походило на то, что вода объявила это место врагом, однако водопой издавал запах совсем неподалеку. Вполне близко, чтоб я расслышал плеск, рычанье и сотни копытцев, топающих прочь.

Леопард вышел на меня еще до того, как я вышел к реке, он все еще двигался на четырех лапах, держа в пасти мертвую антилопу. В ту ночь он с отвращением смотрел, как я обжаривал свою долю. Он вновь оказался на двух ногах, но антилопью ногу ел сырой, разрывая кожу своими зубами, зарываясь в мясо и слизывая кровь с губ. Мне хотелось порадоваться мясу так, как он мясу радовался. Доставшаяся мне почерневшая, обгоревшая нога мне самому была противна. Он бросил на меня взгляд, сказавший, что никогда не смог бы понять, зачем какому угодно животному в этих землях есть добычу, сперва ее опалив. К запахам приправ он не был приучен, а у меня их не было, чтоб приправить мясо. Часть антилопы не прожарилась, и я ел мясо, медленно пережевывая, гадая, то же ли это, что он ест, когда ест убоину, теплую и легко отрываемую, и хорошо ли оно, ощущать отдающую железом слюну у себя во рту. Мне бы такое ни в жизнь не понравилось бы. Леопард зарылся мордой в лапы.

– Деревья другие, – произнес я.

– Лес другого вида. Тут деревья – эгоисты. Ничем не делятся под землей, их корни не посылают другим корням ничего, ни пищи, ни вестей. Им не выжить сообща, так что, если дождь не пойдет, они все повымрут вместе. Пацан?

– Нет нигде. Сейчас, когда мы сидим, запах его на севере, он и не усиливается, и не слабеет.

– Он не движется. Спит?

– Не знаю. Но мы нагнали дни с тех пор, как отправились. Если он так и останется, мы его завтра найдем.

– Скорее, чем я думал. Это могло бы твоей жизнью стать, если б ты захотел.

– Хочешь дальше идти, когда мы его найдем?

Он отбросил кость и посмотрел на меня:

– Что еще успел Асани тебе наплести, прежде чем попытался тебя утопить?

– Что ты отправишь меня обратно с пацаном, но сам ни за что не вернешься.

– Я сказал «может быть, не вернусь», а не «ни за что не вернусь».

– И что с того?

– Зависит от того, что я сыщу. Или что сыщет меня. А тебе-то что с того?

– Ничего, вовсе ничего.

Он хмыкнул, поднялся, подошел и встал рядом. Огонь очертил резкие линии на его лице и высветил его глаза.

– Тебе зачем возвращаться?

– Ей нужен ее пузырь.

– Да не к Сангоме проклятущей – в селение. Зачем тебе возвращаться в селение?

– Там моя семья.

– Нет у тебя там никого. Асани рассказывал мне, все, что тебя ждет там, – это вендетта.

– А это уже кое-что, разве нет?

– Нет.

Он посмотрел на огонь. Ему рот сводит при виде готовящегося мяса, но он развел костер. Я вытащил простыню, пропахшую парнем. Не было уверенности, будем ли мы сидеть на ней или лежать. Вокруг не было деревьев, на каких он мог бы поспать, даже если он привык засыпать над землей.

– Пойдем со мной, – сказал он.

– Куда?

– Да нет. Я в смысле – со мной вместе после этого. После того, как пацана найдем. Найдем, запугаем и обратно пошлем. А сами – на запад.

– Кава хочет…

– Разве Асани повелевает тут всем и каждым? Разве он твой повелитель, чтоб тебя заботило, чего он хочет?

– Что-то меж вами пробежало.

– Ничего не пробегало. Таков стержень меж нами. Он обходит тебя по годам, зато во всем, что в счет идет, он младше тебя. С жизнями в орлянку играет и убивает для забавы. Отвратительные черты человечьего обличья.

– Тогда перестань оборачиваться в него. Ты ж плач не подымаешь по отвратительным поступкам, какие тебе нравятся.

– Назови, какие. По-твоему, при такой луне ты можешь судить меня, мальчишечка? Есть страны, где мужикам, любящим мужиков, члены отсекают и оставляют истекать кровью до смерти. И потом, я поступаю, как боги поступают. Из всех ужасных качеств вашего обличья наихудшее – стыд.

Я знал, что он смотрит на меня. Я сидел, уставившись в огонь, но почувствовал, как он повернул голову. Ночной ветер донес запашок мне не знакомый. От переспелого плода, может, только ничто не давало плодов в этих кустах. Это заставило меня вспомнить кое о чем, и я поразился, что вспомнил это только сейчас.

– Что случилось с теми, кто преследовал нас?

– С кем?

– В ту ночь мы пришли к Сангоме. Женщина-малютка сказала, что кто-то шел за нами следом.

– Она всегда боится, что что-то или кто-то гонится за ней.

– Ты тоже ей поверил.

– Я не верю в страх, но я верю в ее верование. И потом, есть по крайности десяток и еще шесть чар, чтобы сбить с пути охотников и бродяг.

– Вроде гадюк?

– Нет, эти всегда настоящие, – криво усмехнулся он.

Потянулся и ухватил меня за плечо:

– Иди, предавайся сладким снам. Завтра нам искать пацана.

Вздрогнув, я отрешился от сна. Вскочил на ноги: не хватало воздуха. Дело было не в воздухе. Меня бросало влево-вправо, будто я утратил что-то, будто кто-то в ночи украл что-то драгоценное. Я разбудил Леопарда. Шагал налево, направо, на север, на юг, прикрывал свой нос и глубоко вдыхал, но все равно – ничего. Я едва не забрел в догоравший костер, хорошо, что Леопард схватил меня за руку.

– Я ослеп на нос, – заявил я.

– Что?

– Его запах, он для меня потерян.

– Ты хочешь сказать, что он…

– Да.

Леопард уселся прямо в грязь.

– Мы все равно должны достать ее пузырь, – сказал он. – Пойдем дальше на север.

До самых сумерек выбирались мы из того леса. Чаща, от какой несло нашей свежей вонью, не выпускала нас, била и хлестала по груди и по ногам, выставляла маленькие веточки, что хватали нас за волосы, разбрасывала в грязи колючки, что впивались нам в подошвы, и подавала знаки летавшим над головами грифам спуститься пониже. Мы же, два животных, свежее мясо, их не интересовали. Мы шли по саванне, но на нас не обращали внимания ни антилопы, ни цапли, ни боровы-бородавочники.

Но мы направились к другой чаще, что казалась пустой. Никто не входил в нее, даже пара львов, что глянули на Леопарда и кивнули.

В новой чаще уже стемнело. Деревья высокие, но тонкие, с ветвями, тянущимися вверх, которые сломались бы под тяжестью Леопарда. Отстающая кора стволов говорила о возрасте.

Мы ступали по костям, разбросанным по земле всюду. Я вздрогнул, когда в нос мне ударил запах.

– Он тут, – проговорил Леопард.

– Я не знаю запаха его смерти.

– Есть и другие способы дознаться, – сказал он, указывая на землю.

Следы ног. Одни маленькие, как у мальчика. Другие большие, но похожие на отпечатки рук, оставленные на траве и грязи. Но оставившие их будто сбрендили, будто шли, потом бежали, потом бежали сломя голову. Леопард прошел мимо меня несколько шагов и встал. Мешок, что он взял у меня, раскрыт, он выхватывает из него топорик. Я беру кинжал, что он мне протягивает.

– И все это из-за вонючего желчного пузыря?

Леопард смеется. По правде, с ним приятнее, чем с Кавой.

– Начинаю думать, что Кава рассказывает про тебя правду, – говорю.

– Кто сказал, что он врет?

По правде, я затыкаюсь и просто пялюсь на него, надеясь, что он изменит сказанное только что.

– Пацана похитили. Сангома сама его забрала. Украла у своей же сестры. Да, есть такая история, мальчишечка. Знаешь, откуда в ней такая злоба на ведьм? Ее сестра была ведьмой. И сейчас ведьма. Я не знаю. История, по словам ее сестры, такова: Сангома ворует детей, она забирает младенцев у матерей и обучает их нечестивым искусствам. У Сангомы своя история: ее сестрица – ведьма грязи и мальчик этот не ее, поскольку все ведьмы грязи бесплодны от всех снадобий, какие они пьют для обретения сил. Сестрица украла ребенка и собиралась резать его на куски, пока он не помрет, и продать по кускам на тайном рынке ведьм. Многие колдуньи отдали бы щедрую монету за сердце мальчика, вырезанное в день продажи.

– Какой истории ты веришь?

– Той, где мертвое дитя не оскорбляет мой вкус. Неважно. Я буду кругами ходить. Ему не уйти.

Он убежал раньше, чем я успел сказать, что меня его план бесит. У меня и вправду есть нюх, как люди говорят. Только это бесполезно, если я не узнал, что мне вынюхивать.

Ступая через густой низкий кустарник, я вошел в лес. Еще несколько шагов, и почва стала суше, словно песок, и грязь прилипла к моим ногам. Я перебрался через большой скелет, судя по бивням, молодого слона, четыре ребра у него были сломаны. «Поворачивай обратно, и пусть он сам на пацана страх напускает», – подсказывал разум, однако я продолжал шагать. Миновал кучу костей, сложившихся наподобие алтаря, взобрался на холмик, раздвинул два деревца, чтоб пройти. Вверху никакого шевеления, ни птицы, ни змеи, ни мартышки. Тишина – это противоположность звука, а не отсутствие его. Эта была отсутствием.

Я оглянулся и не смог вспомнить, куда зашел. Пацан был прямо тут, до того силен был запах его, но никакого пацана я не видел. Я обошел дерево, перешагивая через низкие кустики и одичавшую траву, когда позади меня что-то треснуло. Ничего, кроме пацана и других запахов, острых и вонючих. Вонь шла от гнили. Человечьей гнили. Только ни передо мной, ни позади меня ничего не было. И все ж пацан был тут. Хотел было позвать его по имени, но передумал. Опять треск, и я обернулся, не переставая шагать. Что-то влажное тронуло мне висок и щеку. Запах, тот запах, его запах и гнили шли от одного и того же. Я тронул щеку, и что-то пропало, кровь и слизь, может, плевок. Кишки свисали веревкой, другие свернулись под ребрами, и от них несло человечьей гнилью и дерьмом. Кожу испещрили прорехи, будто все, что под нею, выскребали зазубренным ножом. Кое-где кожа повисла лоскутами по бокам, и видны были ребра. Лианы у него под мышками и вокруг шеи держали его на весу. Сангома говорила поискать кружок маленьких шрамиков вокруг правого соска пацана. Пацан. Он пялился на меня, сквозь меня, будто сквозь воду в реке рыбу высматривал. Выше на дереве висели другие: мужчины, женщины и дети – все мертвые, у большинства половины тел не хватало, у кого-то головы, у кого-то рук и пальцев, кишки болтались.

– Сасабонсам, братан по матери, он кровь любит. Асанбосам, я то есть, я мясо люблю. Ага, мясо.

Я вздрогнул. Голос звучал, будто зловоние. Я отступил назад. Тут было логово кого-то из старых и забытых богов, еще тогда, когда боги были грубыми и нечистыми. Или демона. Только вокруг меня одни мертвяки были. Сердце, этот барабан внутри меня, громыхало так сильно, что я слышал его. Барабан мой рвался у меня из груди, и тело мое дрожало. Зловонный голос произнес:

– Боги шлют нам жирненького, да, он такой. Жирненького шлют они нам.

Нам по вкусу мяско.
И косточка.
Саса кайфует от крови
С семенем. Нам он тебя посылает ко времени.
Ukwau tsu nambu ka takumi ba

Я круто развернулся – никого. Глянул перед собой – пацан. Глаза его открыты. Не заметил раньше. Широко раскрытые, вопящие в ничто, вопящие оттого, что мы добираемся слишком поздно. *Ukwau tsu nambu ka takumi ba.* Этот язык мне известен. Мертвечину пожиратель ждать не заставит. Ветер у меня за спиной шевельнулся. Я развернулся. Он висел головой вниз. Громадная серая лапища обхватила мне шею, когти впились в кожу. Он душил меня, подтаскивая вверх по дереву.

Не знаю, долго ли разум мой был помутнен. Лоза змеей скользнула по груди и обернулась вокруг ствола, вокруг моих ног, вокруг лба, оставив на мне открытыми шею и живот. Пацан висел напротив, уставившись на меня, глаза его были широко раскрыты, но обращены вверх, ищуще. Рот был все еще открыт. Я думал, что это смертью вызвано: последний крик, что так и не вырвался, – но потом заметил что-то у него во рту, черное и в то же время зеленое. Желчный пузырь.

– Зубик сломали мы-то, а одно и хотелось, чтоб чуток вкусней. Чуток, чуток вкусней.

Запах его был мне знаком, и я знал, что он надо мной, но запах не держался. Я глянул вверх и увидел, как он падает, держа руки по бокам, будто ныряет. Падал быстро, несясь к земле. Серый, пурпурный, черный, вонючий и огромный. Пролетел мимо ветки, но ухватился за нее ногой, и ветка закачалась. Ноги его, длинные, с чешуей на лодыжках, один коготь торчал из пятки, а другие выпирали вместо пальцев на ногах, охватывая ветку, как крюк. Отпустил когти, упал и ухватился за другую ветку, пониже, так что морда его оказалась против моего лица. Пурпурные волосы полоской тянулись по центру головы. Шея и плечи (мышца на мышце!) – как у буффало. Грудь походила на крокодилье подбрюшье. И морда его.

Чешуя над глазами, нос плоский, зато ноздри широкие, с торчащими из них пурпурными волосьями. Скулы высокие, будто он всегда голоден, кожа серая с бородавками, из уголков рта торчат два блестящих клыка, даже когда он не говорит, как у кабана.

– Слышали мы, в землях, где дождей не бывает, матеря нас поминают и детишек пугают. Ты слыхал? Скажи нам правду, вкусненький, вкусненький.

А еще – дыхание его противнее, чем трупная гниль, мерзостней, чем дрисня больного. Взгляд мой скользил по его груди и гребням костей, выпиравших из-под кожи: три слева, три справа. Тугие мышцы на толстенных ляжках: стволы деревьев над тощими коленями. Привязал он меня крепко. Слышал я, как дед мой говорил, мол, с радостью встретит смерть, когда поймет, что она на подходе, а вот тут понял, что был он дураком. Так говорить мог лишь тот, кто ждал, что смерть застанет его во сне. Ух, заорал бы я, как дед был неправ, как несправедливо видеть смерть на подходе, как орать мне в вечной печали, что избрал этот гад для меня смерть медленную, что станет рвать меня и все время твердить мне, в каком он восхищении. Сжевать мою кожу и пооткусывать пальцы – и каждый вырванный кусок моего тела будет новой мукой, каждая боль – новой болью, а каждый приступ страха – новым приступом страха, и мне предстоит видеть, как ему радостно. И захочу я умереть быстро, ибо велики будут страдания… Только не хочу я умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать.

– Не хошь помирать-то? Малышечка, ты разве не слыхал об нас? Скороскороскороскороскоро ты молить об смерти станешь, – говорил Асанбосам.

Он поднял руку, всю в бородавках, поросшую волосами на костяшках, с когтями на кончиках пальцев. Рванул мне челюсть, раскрывая рот, и произнес:

– Миленькие зубки. Миленький ротик, малыш.

С тела надо мной что-то упало на меня. И тут я впервые вспомнил про Леопарда. Леопарда, сказавшего, что он сделает кружок по бушу, только никто не знал, что буш шириной в семь лун пути. Про этого оборотня, этого сопливой леопардовой сучки сына, что оставил меня тут. Асанбосам подскочил на ветке и отпрыгнул в сторону.

– Рассерчает он на нас, как пить дать. Рассерчает, рассерчает, до того уж рассерчает. Не трожь мяско, пока я крови не попил, он-то говорит. Я самый старший, говорит. И стегает он нас – жуть. Жутко. Жутко. Дак, его-то нет, а я голодный. И ты знаешь, что всего хуже? Что хуже и хуже? Он ведь тож лучшее мяско жрет, вроде головы. Это по-честному? По-честному, я спрашиваю?

Когда он вновь уселся напротив меня, во рту у него торчала рука, черная кожа на которой прогнила до зелени. Откусил пальцы. Потянулся левой рукой ко мне, вдавил мне в лоб коготь и пустил кровь.

– Уж сколько дней без свежего мяска, – причитал он. Черные глаза его были широко открыты, будто он жаловался мне. – Много, много деньков.

Он сунул в рот всю руку, жуя ее кусок за куском, пока локтевая связка не свесилась у него с губ.

– Нужна ему его кровь, ага, нужна, как он говорит, так и нужна. Оставляй их живыми, говорит.

Он глянул на меня, глаза его опять широко раскрылись.

– Но он никак не говорил оставлять тебя целеньким.

Шумно втянул в себя полоску мертвой плоти.

– Отрежем-ка кусочек мя…

Первая стрела пробила ему правый глаз. Вторая ударила прямо в его крик и вышла, окровавленная, из шеи сзади. Третья отскочила от его груди. Четвертая прошла точно сквозь левый глаз. Пятая пронзила ему ладонь, когда он подносил руку к глазу. Шестая проткнула мягкую кожу на боку.

Когтистые лапы Асанбосама соскользнули с ветки. Я слышал, как он грохнулся о землю. Леопард запрыгал с ветки на ветку, отталкиваясь от тонких раньше, чем они успевали сломаться, и опускался на крепкую. Сидел на ветке прямо передо мной и оглядывал мертвые тела, обвивая хвостом пучок сухих листьев. Он обратился в человека раньше, чем я успел взъериться на него за то, что так надолго задержался.

Вместо этого я заплакал, ненавидя себя за это. Я ненавистью пылал к тому, что веду себя как мальчишка, мой собственный внутренний голос внушал мне: ребенок, ты и есть ребенок. Леопард спустился за мешком и вернулся с топориком. Я выпал в его объятия, да так и остался в них, плача. Он потрепал меня по спине и дотронулся до головы.

– Нам надо уходить, – сказал он.

Леопард видел, как я поднял сломанный лук, и дал мне свой. Я вернул ему его.

Я не был лучником и, видать, никогда им не буду. Зато я взял нож и топорики. Он засмеялся и заметил, что в мешке они совсем не страшны.

– Нам надо уходить, – сказал Леопард. – Эти твари парами ходят.

– Эти твари?

– Асанбосамы. Они живут на деревьях и нападают сверху, но я ни разу не слышал, чтоб кто-то из них залетал так далеко от побережья. Асанбосан – это пожиратель плоти. Брат его, Сасабонсам, – кровопийца. Он тоже малый не промах. Нам уже уходить надо.

– Желчный пузырь.

– Я его прихватил.

– Где он был?

– Нам надо двигать.

– Я совсем не видел, как ты…

Он подтолкнул меня, чтоб я пошел.

– Сасабонсам скоро вернется. У него крылья есть.

Пять

Леопард оттяпал Асанбосанову голову, обернул ее листьями сукусуку и сунул в мешок. Мы уходили путем, каким я пришел, держа оружие в руках, готовые сразиться с любым зверем, какой покажется этой ночью.

– Что ты станешь делать с головой? – спросил я.

– Повешу на стене, чтоб можно было задницу чесать, когда зачешется.

– Что?

Больше он не сказал ничего. Четыре ночи мы провели на ногах, обходя леса, где дремать нам не пришлось бы, и двуликих животных, какие почуяли б Асанбосамову плоть и упредили б его братца. И всего на расстоянии утреннего перехода до хижин Сангомы донесся до меня запах, и до Леопарда тоже. Он зарычал, я закричал: ходу! Схватил лук, оружие, мешок и пытался двигаться бегом. Когда мы добрались до речки, в ней плавал маленький мальчик – головкой вниз. Леопард бросился в воду и выловил мальчишку, но стрела пробила ему сердце. Мальчика этого мы знали. Не один из тех, что в верхней хижине жили, но все равно минги. Времени хоронить его не было, и Леопард вернул его в реку, повернул лицом вверх, закрыл малышу глаза и пустил его по течению.

На тропе путь закрыли два тельца, мальчик и девочка-альбинос, оба с торчавшими в спинах копьями. Кругом все было красным от крови детей и горящих хижин. Нижняя обрушилась, превратившись в громадный холм из пепла и дыма, а средняя, осевшая из-за сгоревших балок, развалилась надвое. Одна половина рухнула на остатки нижней хижины. Дерево, почерневшее, голое, раскачивалось, вся листва его сгорела. Огонь все еще бушевал в верхней хижине. Горело полкрыши, половина стены почернела и дымилась. Я вспрыгнул на первую ступеньку, и она обломилась подо мной.

Падая, кувыркаясь, я все еще катился, когда Леопард, вспрыгнув по ступеням покрепче, вбежал прямо в хижину. Он пробил ногой заднюю стену, все еще не охваченную пламенем, и продолжал долбать ее, пока дыра не стала достаточно большой. Выскочил он леопардом, держа мальчика за воротник рубашки, однако мальчик уже не двигался. Леопард кивнул в сторону хижины, показывая, что в ней еще много детей. Языки пламени исходили криками, смехом, прыгали с листка на листок, с бамбука на бамбук, с ткани на ткань. На полу безногий малыш держался на малом с жирафьими ногами, и кричал, чтоб тот двигался. Я указал на отверстие и подхватил Жирафленка. Безногий пробрался в отверстие, а я огляделся, стараясь понять, не упустил ли кого.

Сангома была на потолке, недвижимая, с широко раскрытыми глазами, рот широко открыт в молчаливом крике. Копье пронзило ей горло насквозь, однако что-то припечатало ее к крыше, как к полу, и это было не копье, а заклятье. Колдовство. Лишь одна личность могла прийти мне на ум, способная на колдовство. Кто-то прорвался через ее защитные чары и добрался до самой ее хижины. Пламя скакнуло на платье Сангомы, и она вспыхнула.

Я выскочил с малышом.

Из кустов вышли сросшиеся близнецы.

Глаза их были широко раскрыты, губы тряслись. Увиденное, я понимал, не забудется ими никогда, какое бы множество лун ни сменилось. Леопард стянул мертвого мальчика, чтобы осмотреть лежавшего под ним другого, живого альбиноса. Тот заверещал и попытался убежать, но споткнулся, и Леопард подхватил его. Я положил Жирафленка на траву, когда появилась голубая Дымчушка, трепеща до того, что расходилась на двух, трех, четырех девочек. Потом она убежала, пропала, вновь появилась на краю леса. Исчезла – и появилась вновь передо мной, тихонько скуля. Опять побежала, остановилась, побежала, пропала, появилась, встала и смотрела на меня, пока я не понял: она хочет, чтоб я пошел за нею.

Услышал я их раньше, чем увидел. Гиены.

Четыре из них дрались за поваленным деревом над мясом, ворча, толкаясь, кусая друг друга, чтоб урвать и заглотнуть куски целиком. Я даже не пытался думать, чем они могли бы объедаться. Четыре гиены загнали маленького мальчика на дерево, довольно скалясь и издеваясь перед тем, как убить. Дымчушка появилась прямо перед мальчиком и вспугнула стаю. Гиены отошли, но не так далеко, чтобы мальчик смог убежать. Я взобрался на дерево в пятидесяти шагах и прыгал с ветки на ветку, с дерева на дерево, как, я видел, делал Леопард. С ветки высокой я прыгнул на ту, что пониже, потом, раскачиваясь, запрыгнул на ветку повыше. Пролетел ветку внизу и вспрыгнул на другую, съехал по стволу, который вилкой расходился надвое, сквозь бившую по лицу листву прыгнул и зацепился за другую ветку, согнувшуюся под моей тяжестью, а потом подбросившую меня.

Гиены визгливо тявкали, устанавливая порядок, решая, кому из них убивать мальчика. А дерево рядом было высоким, с тонкими ветками и без общения с деревьями вокруг. Я спрыгнул с ветки на вершине, ухватился за другую, качнулся на ней и приземлился на дереве, поломав все веточки вокруг себя, расцарапав ноги и щеку и наглотавшись листьев. Четыре гиены подошли поближе, и Дымчушка старалась удержать мальчика. Крупные гиены, самые большие в стае. Самки. Я метнул кинжал и не попал в лапу. Гиена отпрыгнула – прямо под мой второй кинжал, который попал ей в голову и пробил ее. Одна убежала, две остались, стояли, огрызались и тявкали. С топориками в каждой руке и с кинжалом в зубах я спрыгнул с высоты, приземлившись точно перед гиеной, и с обеих сторон разом рубанул ее по морде, рвану – рубану, рвану – рубану, пока кровь с требухой не залили мне лицо и не ослепили меня. Зверюга опрокинула меня, вцепилась мне в левую руку, стала рвать ее, отчего я заскрежетал зубами, пугая мальчишку. Еще одна гиена пыталась укусить меня за ногу. Я выхватил кинжал изо рта и вонзил его гиене в шею. Вытащил и снова вонзил. Еще раз вонзил. И еще раз. Зверюга упала. Гиена, ухватившая меня за ногу, изготовилась ее куснуть. Я взмахнул здоровой рукой, и кинжал располосовал ей морду, выбив один глаз. Визжа, она убежала. Две гиены вцепились в маленький труп и убежали с ним.

Левая моя рука, окровавленная, разодранная, безжизненно повисла. Мальчишка до того перепугался, что отскочил от меня. Дымчушка поспешила ко мне и умоляла его вернуться. Стоило мальчишке побежать, как на него прыгнула гиена. Упала она прямо на него, сраженная двумя пронзившими ей шею стрелами. Мальчишка пронзительно кричал, когда я вытащил его. Леопард пустил еще две стрелы, и остальные гиены убежали.

Малыш, кого вытащили из хижины, так уже и не проснулся. Мы похоронили шестерых, потом остановились: погибших было очень много, а каждая смерть вызывала в нас смертельную боль. Найденных четверых мы завернули в тряпки или шкуры, какие отыскать смогли, и пустили их по воде, чтобы река унесла их в мир иной. Так и казалось, что они полетели на зов богини. Мы отыскали ягод и приготовили мясо для ребятни. После того как они поглубже погрузились в сон, перестав всхлипывать и вскрикивать, Леопард взял меня за плечо, и мы отошли в лес.

– Ну и кого нам винить в этом? – произнес он.

– Зачем спрашивать про то, что тебе известно?

– Ты его чуешь?

– Я всех их чую.

– Будут и другие.

– Знаю.

Дымчушка не отпускала меня. Следовала за мной до самого края поляны, минуя то, что когда-то было защищено чарами, пока я криком не погнал ее обратно. Леопард собрал оставшихся в живых: мальчишку, которого мы спасли от гиен, мальчика-альбиноса, близне-

цов, Жирафленка и ее. Слишком много тел было, чтоб их хоронить, большинство их успели обгореть.

Когда я собрался уходить, рухнула крыша верхней хижины, и мальчик-альбинос заплакал. Леопард не знал, что делать. Он гладил мальчика по лицу, пока тот не забрался на него и не затих, уткнувшись головой ему в плечо.

– Я должен идти, – сказал Леопард.

– Тебе их не выследить.

– Я искусней луком владею.

– Я возьму топорик и нож. И еще копье.

– Сейчас я могу идти по их следам.

– Они сбивают со следа, двигаясь по реке. Тебе их не найти.

– У тебя всего одна рука.

– Хватит и одной.

Он обвязал мне руку плетенкой асо-оке[24], которая, я знал, покрывала голову Сангомы.

Запах их, прежде ослабевший, с наступлением сумерек держался стойко. На ночь отдохнуть расположились. Шаг за шагом они подходили к хижине той же дорогой, что и мы. Я мог бы отыскать их, даже не утруждая свой нос. По всей дороге были разбросаны всякие безделушки: это когда они поняли, что чары Сангомы ничего не стоят. Нагнал я их еще до наступления глубокой ночи: мясо обжаривали на вертеле. На землях саванны запах горящего мяса отпугивал всех кошачьих. Половинка луны бросала слабый свет. Сельчане расположились между двумя марулами[25], обменивались шутками и издевками. Один, раскинув руки и тараща глаза, высунул язык и бормотал что-то на языке селения про ведьму. Другой поедал упавшие с дерева плоды, шагая как пьяный и называя себя носорогом. Еще один заявил, что ведьма околдовала его желудок и он отойдет посрать. Я последовал за ним, к деревьям, туда, где слоновья трава доходила ему до горла. Достаточно далеко, чтоб ему был слышен их смех, зато они не слышали б его потуги. Задрав повязку на бедрах, он уселся на корточки. Я наступил на гнилую ветку, чтоб он поднял голову. Копье мое вонзилось ему прямо в рот, глаза его вывернулись сплошными белками, ноги подогнулись, и он упал в траву, не проронив ни звука. Я вырвал копье и прокричал проклятие. Остальные всполошились.

Забравшись на другое дерево, я вновь подал голос. Один из сельчан подошел близко, ощупывая путь вокруг дерева, но ничего не видя в смутном свете. Его запах был мне знаком. Уцепившись ногами за ветку, я свесился, оказавшись с топориком как раз над ним, пока он окликал Аникуйо. Резко взмахнув рукой, я рубанул ему прямо в висок. Запах его я помнил, а вот имя его припомнить не мог и слишком уж долго вспоминал. Дубина ударила меня в грудь, и я упал. Руки обхватили мне горло и сдавили. Он сделал бы это, выжал бы из меня душу и стал бы похваляться, что сам учинил это.

Кава.

Я знал его запах, а он знал, что это я. Луна вполсвета высветила его улыбку. Он ничего не говорил, но прижал мне левую руку и хохотнул, когда я выдавил из себя крик.

Кто-то крикнул, спрашивая, нашел ли он меня, и моя правая рука выскользнула из-под его колена, но он этого не заметил. Туже сжимал мне шею, голова у меня отяжелела, потом свет – и в глазах все стало красным. Я даже не понимал, как отыскал нож на земле, пока не сжал в ладони его рукоять, смотрел, как он ржет и приговаривает: ну что, отымел Леопарда? Воткнул нож прямо в горло, откуда кровь ударила фонтаном, как горячая вода из-под земли.

---

[24] *Асо-оке* – плотная ткань ручного плетения, какую издавна ткали в народности йоруба (Западная Нигерия). Обычно сплетенная мужчинами, ткань используется для изготовления мужских платьев *агбада*, женских верхних накидок *иро* и мужских шляп *фила*.

[25] *Марула* – плодовое дерево с широкой кроной, достигающее в высоту 20 метров. Распространено в лесистых районах Южной и Западной Африки. До сих пор в ходу легенда, что слоны пьянеют, поедая плоды марулы.

Глаза у него из орбит выскочили. Кава не упал, он опустился мне на грудь, теплая кровь его побежала по моей коже.

Вот что хотел бы я сказать колдуну.

То, что причина, по какой не видел он меня в темноте, не слышал, как пробирался я по бушу, не мог учуять по следу меня, бегущего за ним, пока он удирал, потому как понимал, что навалилась на посланных им какая-то напасть вроде крученого ветра, причина, по какой он споткнулся и упал, причина, по какой ни один камень, что он поднял и швырнул в меня, меня не задел, как и шакалье дерьмо, какое он по ошибке принял за камень, причина, по какой даже после того, как пригвоздил он своим заклятьем Сангому и убил ее на крыше ее хижины, колдовство Сангомы все еще защищало меня, потому как не было оно никаким колдовством. Хотел бы я все это сказать. Вместо этого воткнул я нож ему в шею с востока и располосовал горло до самого запада.

Мой Дядя криком кричал, моля их не убегать, тех двух последних, что были рядом. Он заплатил им золотыми монетами и каури, он вдвое больше даст, даже втрое больше, и они смогут другим заплатить, чтоб сражались с их кровными врагами, или взять себе еще одну жену из деревни поприличнее. Он сидел в грязи, полагая, что они следят за бушем, а они следили за мясом. Тот, что справа, упал первым: мой топорик разрубил ему нос надвое и раскроил череп.

Второй на бегу наткнулся прямо на мою пику. Он упал и быстро отмучился. Я пронзил копьем ему живот и попал в землю, целя ему в шею. Хватило времени, чтобы мой Дядя вздумал бежать, объятый надеждой. Убежать.

Мой нож вонзился ему в правое бедро. Он тяжело шлепнулся, вопя и криком взывая к богам.

– Кого из детей ты убивал первым, Дядя?

– Слепой Бог Ночи, услышь мои молитвы!

– Кого? Ты сам за нож взялся или других для этого нанял?

– Боги земли и неба, я всегда почитал вас!

– Кто-то из них кричал?

Он перестал отползать прочь и уселся в грязь.

– Все они кричали. Когда мы заперли их в хижине и подожгли ее. Потом криков больше не стало.

Сказал он это, чтобы меня пробрало, и – пробрало. Не было у меня желания становиться таким человеком, кого такие вот вести до потрохов не пробирали б.

– А ты! Я знал, что ты проклятие, но и подумать не мог, что ты сподобишься прятать минги.

– Не смей никогда звать…

– Минги! Мальчик, ты когда-нибудь видел дождь? Ощущал его на своей коже? Видел, как в одну ночь распускаются цветы, потому что земля полнится от воды? На все это тебе стоило бы посмотреть. Ты бы много лун голову ломал, почему это боги забыли эту землю. Высушили реки и позволили женщинам рожать мертвых детей. Это ты навлек бы на нас? Одного ребенка-минги хватает, чтобы проклят был целый дом. А десять и еще четыре? Ты разве не слышал наши разговоры о том, что охота нынче плохая и становится все хуже? Буманджи может носить дурацкие маски и плясать дурацкому божку, только ни один Бог не станет слушать в присутствии минги. Еще две луны, и мы голодать бы стали. Что ж дивиться, что слоны с носорогами пропали, а остались только ядовитые змеи? И ты, дурак…

– Оберегал их Кава, а не я.

– Ты смотри, как он врет-то! И Кава предупреждал, что ты будешь врать. Он следом за вами шел, за тобой и еще каким-то Леопардом, с кем ты кувыркался. Это сколько же мерзости в одного мальца влезть может?

– Я бы сказал: пусть Кава подтвердит свои слова, – только у него больше горла нет.

Дядя сглотнул. Я шагнул ближе. Он пополз прочь, будто скорпион по песку.

– Я твой любимый Дядя. Я единственная семья, какая у тебя есть.

– Тогда я буду на деревьях жить и возле рек гадить.

– Думаешь, барабаны никогда не услышат? Люди по запаху распознают всю эту кровь и обвинят тебя. Кто он такой, этот бездомный? Кто он такой, этот бездетный? Кто был тот, о ком Кава, вернувшись в селение, рассказывал, говоря, что он творит проклятия на свой собственный народ? Все эти мужчины, кого ты убил, что петь их женам? Ты, кто выбрал нечестивых детей и проклятую землю, теперь еще забрал их отцов, сыновей и братьев. Ты – мертвец. Уж лучше тебе самому взять нож и перерезать себе горло.

Я зевнул.

– Есть еще что сказать? Или ты теперь предлагать станешь?

– Шаман…

– Вот те на, теперь ты веришь слову шаманов?

– Наш шаман, он сказал мне, что что-то падет на нас, как буря.

– И ты подумал о молнии. Если ты вообще думал.

– Ты не молния. Ты – чума. Посмотри на меня, как ты явился к нам ночью, будто дурной ветер, и проклятия потоком полетели. Тебе полагалось убить гангатома. Вместо этого ты взялся за их работу. Но даже они никогда сами не обратятся к тебе. Нет у тебя никого своих, и ты сам ничьим не станешь.

– Предсказателем стал? Завтра тебе открылось? Любимый Дядя, у меня к тебе один вопрос. – Он уставился на меня. – Гангатомы пришли по душу моего отца и моего брата, заставили моего деда бежать. Как оно случилось, любимый Дядя, что они ни разу тебя не трогали?

Я пригнулся прежде, чем он метнул в меня мой собственный нож. Тот стукнулся в дерево позади меня и упал. Дядя вскочил, заорал и помчался на меня, как буффало. Первая стрела прострелила ему левую щеку и вышла из правой. Вторая прямо в шею ему попала. Третья меж ребер прошла. Дядя таращился на меня, ноги его ослабли, и он рухнул на колени. Пятая тоже пронзила шею. Любимый Дядя растянулся на земле лицом вниз. Позади меня Леопард опустил свой лук. За ним стояли Альбинос, безногий Колобок, сросшиеся Близнецы, Жирафленок и Дымчушка.

– Не для их это глаз, – выговорил я.

– Нет, для их, – возразил он.

На рассвете мы отвели детей единственным людям, готовым их принять, людям, для кого ни единый ребенок никогда не мог стать проклятием. В гангатомской деревне за копья схватились, увидев нас на подходе, но пропустили, когда Леопард закричал, что мы принесли дары для вождя. И тот, высокий, тощий, скорее боец, чем правитель, вышел из своей хижины и оглядел нас, стоя за стеной своих воинов. Он повернул голову к Леопарду, но взгляд его так и оставался на мне. Скулы высокие, глаза глубоко ушли в надбровья, словно в тени скрылись. В каждом ухе у него было по кольцу, шею обвивали двое бус. Грудь его – стена из рубцов в знак десятков и десятков поверженных. Леопард развязал мешок и вышвырнул из него голову Асанбосама. Даже воины отпрянули прочь.

Вождь взирал на нее достаточно долго, чтобы мухи тучей налетели. Он прошел сквозь шеренгу воинов, поднял голову и рассмеялся.

– Когда пожиратель плоти и его брат-кровосос увели мою сестру, они пили у нее лишь столько крови, чтоб она в живых оставалась, зато и накормили ее такой гадостью, что она стала их кровной рабыней. Жила под их деревом и ела объедки мертвецов. Следовала за ними по всем землям, пока даже им не становилась в тягость. Следовала за ними в реки, через стены, в гнездовья огненных муравьев[26].

[26] Семейство опаснейших жалящих муравьев, обладающих сильным жалом и ядом, некоторые могут стать смертельно

Однажды Сасабонсам подхватил брата и слетел с утеса, зная, что сестра последует за ними.

Вождь поднял голову и вновь рассмеялся. Народ повеселел. Потом вождь взглянул на меня и оборвал смех.

– Так что, Леопард, взыграло в тебе, отвага безудержная или глупость безмерная? Ты привел сюда ку?

– Он тоже пришел с дарами, – сказал Леопард.

Я тряхнул дядин плащ из козлиной шкуры и оттуда выпала его голова. Воины тесно обступили ее.

Вождь ничего не говорил.

– Но разве вы с ним не одной крови?

– Я ничьей крови.

– Я вижу ее в тебе, нюхом чую. Сколько ты этого ни отрицай. Мы убили много мужчин и нескольких женщин, большинство из них были вашего племени. Но своих мы не убиваем. Что за честь, по-твоему, это принесет тебе?

– Ты только что признался, что вы убили нескольких женщин, и все ж ты рассуждаешь о чести?

Вождь опять воззрился на меня:

– Я бы сказал, что тебе нельзя оставаться тут, но ты пришел не затем, чтоб остаться. И ты, Леопард, тоже.

Он глянул за наши спины:

– Еще дары?

Мы оставили детей у него. Две женщины подхватили Жирафленка – одна за ягодицу – и потащили его к себе в хижину. Молодой мужчина сказал, что отец его слеп и ему одиноко, а самому ему все равно, что Близнецы срослись. Так не придется даже беспокоиться, чтоб не потерять одного. Мужчина с благородными перьями в головном уборе в тот же день взял Колобка с собой на охоту.

Несколько мальчишек и девочек окружили Альбиноса, трогали его, пальцами тыкали, пока один не догадался дать парню чашку воды.

Мы с Леопардом ушли до заката. Пошли вдоль реки, потому как мне хотелось хоть мельком увидеть кого-то из ку, кого я больше не увижу никогда. Только ни один ку не вышел к реке, от страха попасть под копье гангатомов. Леопард повернул, собираясь вернуться в густой лес, когда позади меня зашуршали листья. Чаще всего она проходила как призрак, однако если была здорово испугана, радостна или сердита, то шуршала листьями. А то и камни ворочала. Дымчушка.

– Скажи ей, что нельзя ей за нами, – обратился я к Леопарду.

– А она и не за мной, – хмыкнул тот.

– Возвращайся! – прикрикнул я, обернувшись. – Ступай, стань дочерью для какой-нибудь матери или сестрой какому-нибудь брату.

Ее личико появилось из дымки, нахмуренное, будто она не понимала моих слов. Я указал на деревню, но она где была, там и оставалась. Я махал ей, мол, уходи, но она шла следом. Я подумал, если не стану обращать на нее внимания и как невнимание к тому, что она идет за мной, заставляет колотиться мое сердце, то она отстанет. Только Дымчушка следовала за мной до самого конца деревни и после нее.

– Иди назад! – выкрикивал я. – Возвращайся, мне ты не нужна.

опасными для людей, страдающих от аллергии.

Я шагал – и она вновь возникала передо мной. Я готов был заорать, но она заплакала. Я отвернулся – она снова возникла. Леопард стал преображаться и рыкнул. Дымчушка отпрянула.

– Иди назад, пока я не проклял тебя! – крикнул я.

Мы дошли до рубежа территории Гангатома, направляясь на север, на вольные земли, а потом в Луала-Луала. Я знал, что она у меня за спиной. Я подобрал два камешка и бросил один в нее. Проскочил ее насквозь, камень-то, только я понимал, как ужаснет ее сам мой бросок.

– Иди назад, призрак проклятущий! – крикнул я и бросил второй камешек. Она пропала, и больше я ее не видел. Леопард ушел далеко вперед, прежде чем я понял, что все еще стою на месте, не двигаясь. Понимал, что смогу, и знал – с места не тронусь, пока он не рявкнул.

Я отправился с Леопардом в Фасиси, столичный город на севере, и нашел там множество мужчин и женщин, у кого пропали вещи и люди, кому была бы польза от моего нюха. Леопарду обрыдли стены, и две луны спустя он ушел, а я остался один на долгие-долгие луны.

В следующий раз я увиделся с Леопардом, когда годы прошли и я стал мужчиной. Телом прибавил и лунами, охотник за пропавшими, если вам моя цена по карману. Для слишком многих мужчин в Фасиси мысль обо мне была горька, так что перебрался я в Малакал. Леопард пробыл там четыре ночи, прежде чем передал мне с хозяйкой, что намерен повидаться со мной, что, на мой взгляд, было ясно, потому как видеть город ему не было никакого резона. Леопард по-прежнему был крепок в кости и красив, ходил он в человечьем обличье, в рубахе с короткими рукавами и плаще: леопарда мужчины города убили бы. Ноги у него стали крепче, волосы, обрамлявшие лицо, еще буйнее. Он отпустил усы, только Малакал был городом, где мужчины любили мужчин, священники женились на рабынях, а печаль смывалась пальмовой водкой и пивом масуку. Я нюхом почуял его прибытие ночью, когда он пришел в город. В ночь, когда даже дождь, пробудив старые запахи, был не в силах унять его вони. Он по-прежнему источал вонь человека, что моется, лишь переходя реку. Мы встретились на постоялом дворе «Куликуло», месте, где я вел дела, месте, где толстяк-хозяин подавал суп и вино, и никто в грош не ставил, кто или что проходило в дверь. Мне хозяин предложил пальмовой водки, какую сам бы не стал пить.

– Ты хорошо выглядишь, не тот, что был, теперь мужчина, – сказал Леопард.

– А ты такой же, – заметил я.

– Как твой нюх?

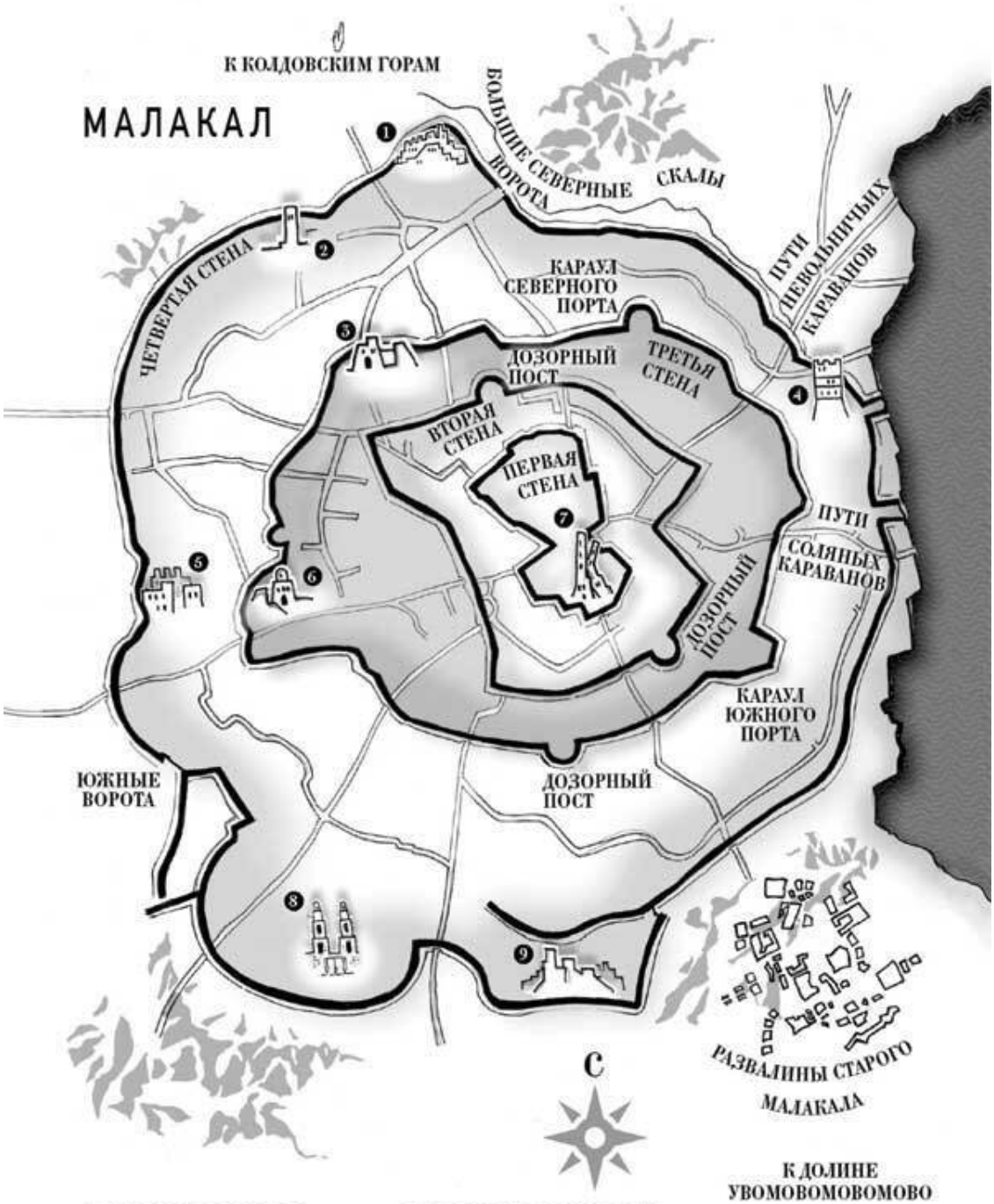
– Этот нюх заплатит за эту водку, поскольку по тебе не скажешь, что ты при деньгах.

Он рассмеялся и сообщил, что явился с предложением.

– Мне нужно, чтоб ты помог мне найти муху, – сказал он.

2. Малакин

Gaba kura baya siyaki.


К КОЛДОВСКИМ ГОРАМ
МАЛАКАЛ
БОЛЬШИЕ СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА
СКАЛЫ
ПУТИ НЕВОЛЬНИЧЬИХ КАРАВАНОВ
ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА
КАРАУЛ СЕВЕРНОГО ПОРТА
ДОЗОРНЫЙ ПОСТ
ТРЕТЬЯ СТЕНА
ВТОРАЯ СТЕНА
ПЕРВАЯ СТЕНА
ПУТИ СОЛЯНЫХ КАРАВАНОВ
ДОЗОРНЫЙ ПОСТ
КАРАУЛ ЮЖНОГО ПОРТА
ЮЖНЫЕ ВОРОТА
ДОЗОРНЫЙ ПОСТ
РАЗВАЛИНЫ СТАРОГО МАЛАКАЛА
К ДОЛИНЕ УВОМОВОМОВОМОВО
С
1. СЕВЕРНАЯ КРЕПОСТЬ
2. ДОМ БЕЗ ДВЕРЕЙ
3. ДОМ БЕЛЕКУНА БОЛЬШОГО
4. ВОСТОЧНЫЕ ТРУЩОБЫ
5. ЗАПАДНАЯ КРЕПОСТЬ
6. ГОСТИНИЦА СЛЕДОПЫТА
7. РУХНУВШАЯ БАШНЯ
8. ЧАСОВНЯ ВИЦЕ-КОРОЛЯ
9. ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ

Шесть

Это вот.

Ты хочешь, чтоб я прочел это.

Убедись сам, говоришь ты. Пометь, где тут говорится не так, как было на самом деле. Мне незачем читать, ты пишешь, как пожелает Аши. Аши – это все, жизнь и смерть, утро и ночь, удача и горести. То, что вы на юге считаете богом, а на самом деле то, откуда боги на свет являются.

Но верю ли я этому?

Толковый вопрос. Ладно, я прочту.

Показание Следопыта в этот, девятый день. Тысяча поклонов ко благу Старейшин. Данное показание есть письменное свидетельство, явленное обращение к богам небесным, которые вершат правосудие молнией и змеиным ядом. И с соизволения Старейшин Следопыт дает сведения и обширные, и пространные, ибо великое множество лет и лун минуло с потери ребенка и до смерти оного. Данная запись есть середина множества историй Следопыта, в том смысле, что судить о том, какие правдивы, а какие ложны, я предоставлю суду Старейшин, единственно посвященных в волю богов. Рассказ Следопыта продолжает ставить в тупик даже наделенных необычайным разумом. Он забирается в глубинку странных земель, словно бы рассказывает сказку детям на ночь или пересказывает ночные кошмары шаману для предсказаний Ифы[27]*. Однако такова воля Старейшин, чтобы человек говорил свободно, и говорил до тех пор, пока слух богов не насытится истиной.*

Он вникает в вид, запах и вкус воспоминаний, в совершенстве воскрешая в памяти запах в щели меж мужскими ягодицами или аромат малакалских девственниц в спальных покоях, выходивший из окон, под которыми он проходил, а также вид сияющего солнечного света, знаменующего неспешную смену времен года. Зато о промежутках между лунами: год, три года – он не говорит ничего.

Нам-то известно, что Следопыт и группа из девяти человек, в том числе и еще одного, кто жив до сих пор, отправились на поиски мальчика, как он утверждает, похищенного. Мальчик, как к тому времени было известно, являлся сыном или подопечным работорговца из Малакала.

Нам известно: они отправились из Малакала в начале сухого сезона, и поиск мальчика занял семь лун. Успех: ребенок был найден и возвращен, – однако четыре года спустя он вновь был потерян, и второй поиск (меньшей группой) занял год и завершился смертью мальчика.

По запросу Старейшин Следопыт подробно рассказал о своем воспитании, простым языком и с ясным лицом припомнил некоторые подробности первого поиска. Однако он расскажет лишь об окончании второго поиска и откажется дать показания о четырех его первых годах, во время которых, как известно, он проживал в земле Миту.

В этом месте я, ваш судебный следователь, использовал иную приманку. Он явился в то, девятое утро рассказать о том годе, когда воссоединился с наемником, именуемым «Леопард». Он действительно заявлял прежде, что именно Леопард явился к нему с предложением предпринять поиск ребенка. Однако ложь походит на дом, осторожно выстроенный на прогнивших сваях. Лжец зачастую забывает начало своего рассказа, прежде чем переходит к его

[27] Система гадания Ифы, в которой используется обширный корпус текстов и математических формул, практикуется среди общин *йоруба* в Нигерии и африканских диаспор в Северной и Южной Америке. Ифа, или Орунмиле, рассматривается йоруба как божество мудрости и интеллектуального развития. С 2008 года гадания Ифы входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

окончанию, и это дает возможность подловить его. Ложь – это сказка, осторожно рассказанная, если есть позволение ее рассказать, и я намерен изобличить его неправду, прося его рассказать иную часть рассказа. Так вот, я спросил его не о первом поиске или о втором, а о четырех годах между ними.

ВОПРОС: *Расскажите мне о годе смерти вашего Короля.*

СЛЕДОПЫТ: *Вашего безумного Короля.*

ВОПРОС: *Нашего Короля.*

СЛЕДОПЫТ: *Но безумного. Прости меня, но они все безумны.*

ВОПРОС: *Расскажите мне о годе смерти нашего Короля.*

СЛЕДОПЫТ: *Он твой Король. Ты и расскажи мне.*

ВОПРОС: *Расскажите мне о…*

СЛЕДОПЫТ: *Год был как год. Были дни, и были ночи с ночами, бывшими концом дня. Луны, времена года, бури, засухи – уж не шаман ли ты, кто дарует такие вести, Инквизитор? Вопросы твои становятся день ото дня чуднее, говорю тебе прямо.*

ВОПРОС: *Вы помните тот год?*

СЛЕДОПЫТ: *Народ Ку годов не считает.*

ВОПРОС: *Вы помните тот год?*

СЛЕДОПЫТ: *Это был год, когда ваш превосходительнейший Король просрал свою превосходнейшую жизнь в самой превосходной сральне.*

ВОПРОС: *Непочтительная речь в адрес Короля в Южном Королевстве карается смертью.*

СЛЕДОПЫТ: *Нынче он труп, а не Король.*

ВОПРОС: *Довольно. Расскажите мне о вашем годе.*

СЛЕДОПЫТ: *О годе? Мой год. Я жил на полную и оставил все позади, когда он кончился. Чего больше знать-то надо?*

ВОПРОС: *Ничего больше у вас нет? Чего-то еще?*

СЛЕДОПЫТ: *Боюсь, Инквизитор, что сказки получше ты нашел бы у тех из нас, кто умер. Мне нечего отметить в тех годах, кроме спокойствия, скуки и бесконечных обращений сердитых жен разыскать их неудовлетворенных мужей…*

ВОПРОС: *Вы в те годы отошли от дел?*

СЛЕДОПЫТ: *По-моему, я лучше всех помню собственные прожитые годы.*

ВОПРОС: *Расскажите мне о ваших четырех годах в Миту.*

СЛЕДОПЫТ: *Я не проводил в Миту никаких четырех лет.*

ВОПРОС: *В ваших показаниях в четвертый день сказано, что после первого поиска вы удалились в деревню Гангатома, а оттуда – в Миту. Ваши показания в пятый день начинаются со слов: «Когда он отыскал меня в Миту, я уже собрался уходить». Четыре года остаются нерассказанными. Разве вы не жили в Миту?*

[Примечание: песочные часы еще на треть не были пусты, когда я задал ему этот вопрос. Он посмотрел на меня, как смотрят те, кто столкнулся с дерзостью. Изгиб его бровей, хмурость на лице, потом пустота, опущенный уголок рта и повлажневшие глаза – словно бы он, обдумывая ответ, перешел от гнева на мой вопрос к чему-то другому. Песочные часы опустели прежде, чем он опять заговорил.]

СЛЕДОПЫТ: *Я не знаю никакого такого места под названием Миту.*

ВОПРОС: *Вы? Следопыт, уверявший, что побывал во всех десяти и еще трех королевствах, в месте, где обитают летающие звери, в земле говорящих обезьян и в землях, каких нет на картах людей, это у вас-то нет познаний всей территории?*

СЛЕДОПЫТ: *Перестань сыпать мне соль на рану.*

ВОПРОС: *Вы забываете, кто здесь отдает приказы.*

СЛЕДОПЫТ: *Нога моя не ступала в Миту, никогда.*

ВОПРОС: *Ответ, отличающийся от «я не знаю такого места под названием Миту».*

СЛЕДОПЫТ: *Скажи-ка мне, как тебе желательно, чтоб я рассказал эту историю. С сумерек ее или с ее рассвета? Или, может, как урок преподать или песнь хвалебную? Или истории моей стоит продвигаться, как крабы делают, с боку на бок?*

ВОПРОС: *Расскажите Старейшинам, что воспримут написанное здесь как сказанное исключительно вами самим. Что происходило за ваши четыре года в Миту?*

Опишу его лицо без эмоций или осуждения. Брови его приподнялись, он открыл рот, но не заговорил. Как мне показалось, он раздраженно ворчал или сыпал проклятьями на одном из северных речных языков. Потом он вскочил со своего стула, сбил его и отшвырнул прочь. С воплями и криками прыгнул на меня. Я едва стражу кликнул, как руки его обхватили мне горло. Воистину я был убежден, что он задушит меня до смерти. Он сдавливал все сильнее, опрокидывая меня в кресле, пока мы оба не свалились на пол. Осмелюсь заметить, что дыхание его было зловонно. Да, я ударил его – стилосом в руку и в плечо сверху, – однако могу под присягой показать, что в тот момент я действительно покидал мир сей, и делал это впопыхах. Два стражника подошли сзади и ударили его дубинками по затылку, пока он не повалился на меня сверху, но даже тогда хватка его не ослабевала, пока они не ударили его в третий раз.

Должен сказать, отчет точный, хотя, помнится, ребра мои вынесли несколько пинков твоих людей, даже после того, как меня связали. Спину мне отхлестали мешком для батата.

И вот еще что: ногам моим столько горячих кнутом всыпали, что дивлюсь, как я до этой комнаты дошел. Память обманывает: меня ж сюда притащили. И это было не самое худшее, ведь худшим был твой приказ одеть меня в одежду, предназначенную для рабов, – что за проступок я совершил, чтобы заслужить такое?

Теперь взгляни на нас. На меня во тьме даже при дневном свете, на тебя вон там, в кресле.

Удерживаешь бумагу и стилос на коленках и стараешься не опрокинуть чернила себе на ноги. А еще эти прутья железные между нами. Тот, что сидит со мной рядом, каждую ночь взывает к богине любви, и я такого не слыхивал со времен, когда разыскивал отца, деда моего, в борделе. Между нами: я сожалею, что богиня не отвечает, а то крики его с каждой ночью все громче становятся.

Так вот. Моих отца с братом убили, а Дядя мой пал от моей руки. Вернемся к моему деду? Чтоб какие вести ему поведать? Привет, папаша, кого нынче я знаю как деда своего, хоть ты и живешь с моей матерью. Я убил другого твоего сына. Нет в том никакой чести, только ты-то уже человек без чести. Ты воистину хитер. Так хитер, Инквизитор, и так меня разозлил, что я с ними говорю, а не с тобой. Что ж это за показания?

Ты помылся с тех пор, как я тебя в последний раз видел. Ключевая вода с драгоценными солями, специями и лепестками цветов. Специй такое множество, что впору заподозрить, будто твоя десятилетняя жена пыталась сварить тебя. Не собиралась? Нюхом чую волдырь у тебя на спине справа, как раз там, куда она лила кипящую воду и ошпарила тебя. Все боги свидетели, она точно собиралась сварить тебя. Ты ей врезал, само собой, крепко, по губам. Ты и прежде приносил на себе ее кровь.

Что там у нас произошло следом? После того как стражники отдубасили меня по затылку, но до того, как меня сюда приволокли. Значит, было дело: я душил тебя, пока ты едва не сдох. Было дело, когда стражникам пришлось по щекам тебя хлестать, как накурившегося опиумом придурка в мужском логове любителей вызвать духов. Не спрашивай меня больше про Миту.

Еще одно. Когда вы перевезли меня в Нигики? До города этого почти день скакать от узилища, где меня в последний раз держали. Нюхом чую соляные копи, в какую сторону ни повернусь. Меня ночью перевозили? Что за странное зелье держало меня во сне? Я заметил, что ты не говоришь «нет», когда я упоминаю Нигики. Народ болтает, что тюрьма в Нигики роскошней дворца в Конгоре, только этот народ никогда в этой тюрьме не сидел. Ее вы тоже перевезли или одного только своего дорогого, неподступного Следопыта?

В последний раз я в этом городе тоже в цепях был. Как не рассказать тебе эту историю!

Позволил я себе быть проданным одному дворянину в Нигики, ведь раб все-таки ел четыре раза на день, собственного ума никак не имел и жил во дворце. Так почему б и не побыть рабом? А в любое время, как по свободе затоскую, возьму да попросту убью своего хозяина. Только к этому дворянину слух склонял сам ваш безумный Король. Я узнал, потому как он каждому о том рассказывал, кто был слушать готов. А раз уж я ввязался в новую забаву – полное раболепие перед другим, – то и оказался среди тех, кому он рассказал. В южных королевствах рабов перепродавать нельзя, тем более в Нигики, но мой хозяин это сделал и тем определил свою судьбу.

Иногда рабы оказывались свободнорожденными и украденными.

Хозяин был трусом и вором, он порол свою жену по ночам и колотил ее днем – чтоб рабы видели, мол, превыше него нет ни мужчины, ни женщины. Как-то, когда его не было, я сказал ей: будет на то воля хозяйки, так у меня есть пять конечностей, десять пальцев, один язык и две дыры, и все к ее услугам. Она сказала, что от меня несет, как от кабана, но я, может, единственный в Нигики мужчина, кто не пропах солью. Она сказала, что слышала кое-что про мужчин с севера, про то, что вытворяют они с женщинами своими губами и языком. Я пошуровал в пяти ее одеждах, добрался до ее *коу*, потом распластал в обе стороны губы ее срамные, потом метнул языком прямо в маленькую душу, какая глубоко сидела у той женщины и какую мы, ку, считаем потаенным мальчиком, какого вырезать нужно, но какая на самом деле превыше всяких мальчиков-девочек. Шуму от хозяйки было больше, чем когда ее пороли, но поскольку я под ее одеждами был спрятан, рабыни думали, будто она порку вспоминает, либо бог урожая ее к небесам возносит.

Никогда она не позволяла мне засунуть в нее хоть что-то, кроме языка, такая уж повадка у хозяек.

– Как можно возлечь с кабаном? – говаривала она.

Не терпится узнать, чем это кончилось? Не терпится узнать, не раздвигал ли я когда моря ее одежд да и драл ее безо всякого спроса, ведь вы, южные лорды, именно так и поступаете. Или ты дождаться не можешь момента, когда я убью ее мужа, ведь разве все мои сказания не кончаются кровью?

Вскоре я сказал дворянину, что еще и луны не прошло, а мне уже наскучило быть рабом. Даже жестокость твоя любопытства не вызывает. Я попрощался, изобразил губами и языком обидное «пфр-р» в лицо хозяйке и пошел себе.

Да, так я и ушел.

Ладно, ладно, раз уж тебе дознаться приспичило. Ну да, шлепнул я плашмя дворянина по затылку мечом нгомбе, заставил одного раба насрать ему в рот и обвязал ему голову веревкой так, чтоб челюсть не открыть. Потом я ушел.

Детишки?

А это-то при чем?

Детишек я видел. И не раз, и не два. Через неделю после того, как мы оставили их у гангатомов, пробирался я вдоль реки-двойняшки. К тому времени от деревни ветром несло телами Кавы, колдуна и моего любимого Дяди. На подходе, когда шел по гангатомовой стороне реки, в любой миг мог копье грудью словить, и мой убийца не соврал бы, когда сказал бы: тут и убил я ку. Я перебегал от дерева к дереву, от куста к кусту, зная, что не должен был

уходить. Всего неделя прошла. Только, может, Альбиносу попался какой сорванец, кто пырнул его, чтоб посмотреть, не белая ли у него кровь, а может, женщин деревни пугали тревожные сны Дымчушки и нужно было объяснить, что бояться нечего, ведь иначе как бы им это узнать? И позволять ей сидеть у вас на голове, если хочется ей на ваших головах посидеть, а может, мой малыш, Колобок, вкатился в какого-нибудь мужика, ведь то был единственный известный ему способ известить, мол, а вот и я, поиграй со мной, я ж готовая игрушка. И ни за что не называть Жирафленка жирафом. Ни разу. А Близнецы такие добродушные хитрюги – один спросит тебя через правое плечо: «А где восток?» – и в это время другой несколько глоточков каши у тебя утянет.

И не было там Леопарда, чтоб ручаться за меня: он нашел дело и развлечения в Фасиси. Только река-двойняшка протекала по редким джунглям, дерево от дерева далеко стояло. Я припал к одному дереву и уже собирался к другому переметнуться, в десятке и еще семи шагах впереди, когда мимо пролетела стрела. Я отпрыгнул назад, и в дерево тут же впились три стрелы. Послышались голоса ку, воинов за рекой, посчитавших, что они убили меня. Я упал на живот и ящерицей пополз прочь.

Два года спустя я отправился навестить моих детишек-минги. Шел я из Малакала другой дорогой, чем та, по какой ку ходят. Жирафленок был уже высоким, как настоящий жираф, ноги его мне до головы доходили, лицо же стало немного постарше, но все равно молодое. Он первым меня увидел, когда я вошел в поселенье гангатомов. Про Альбиноса я не знал, что он самый старший, пока не увидел, что он вырос больше всех: мускулистый стал, ростом чуть повыше и очень красивый. Мне трудно было судить, на самом ли деле он быстро вырос или я только тогда и заметил. Даже когда он ко мне бежал, глаза женщин провожали его. Близнецы ушли на охоту в буш. Безногий малыш стал еще толще и круглее, колобком раскатывался повсюду. «От тебя на войне польза будет, – сказал я ему. – Вы теперь все воины?» Альбинос кивнул, а безногий Колобок хохотнул, подкатил ко мне, сбивая с ног. Дымчушки я не видел.

А потом, луну спустя, я пошел прогуляться с Жирафленком и спросил: «Дымчушка, она, что ли, до сих пор злится на меня?» Он не знал, как мне ответить, ведь сам он вовсе не знал злости. «Все мужчины, вошедшие в ее жизнь, уходят», – сказал он, когда мы подходили обратно к его дому. У двери женщины, взрастившие его, сообщили, что вождь умирает, а тот, кто станет их следующим вождем, плохо относится ко всем ку, даже к тому, что живет с другими людьми в доме из камня.

Имена их тебе ни к чему.

Что до Леопарда, то пять лет прошло, прежде чем я встретился с ним на постоялом дворе «Куликуло».

– Мне нужно, чтоб ты помог мне найти муху, – сказал он.

– Тогда с пауком посоветуйся, – ответил я.

Он рассмеялся. Годы изменили его, даром что выглядел он все так же. Челюсть его по-прежнему была крепка, глаза, как родники, в каких себя видишь. Усы и буйная грива придавали ему вид скорее льва, чем пантеры. Интересно, думалось, так же ли он скор и быстр. Долго я гадал, как он стареет: как леопард или как человек. Малакал был местом гражданской бойни, а не городом-прибежищем для оборотней. Но в «Куликуло» никогда не судили о людях по их обличью или одеянию, даже если те не носили ничего, кроме пыли да красной охры, размешанной на коровьем навозе, покуда платили они монетой, что крепка в цене и текла рекой. И все ж он извлек из мешка шкуры и обернул чем-то грубым и волосатым свои чресла, потом затянул спину в блестящую кожу. Это было ново. Животное выучилось стыду у людей, тот самый человек, кто когда-то сказал, что леопард бы в юбках рождался, если б ему полагалось их носить. Он спросил вина и напитка покрепче, какой зверя угробил бы.

– Ты изменился, Леопард.

– С тех пор как сел?

– С тех пор как я видел тебя в последний раз.

– Знаешь, Следопыт, нечестивые времена оставили свой след. А твои дни не нечестивы?

– Мои дни жирком заплывают.

Он рассмеялся.

– Только взгляни на себя: толковать с котом про перемены. – Рот у него кривился, будто он еще что скажет.

– Что? – спросил я.

Он указал:

– Глаз твой, дурак ты эдакий. Это еще что за колдовство? Предпочтешь о том не говорить?

– Я и позабыл, – буркнул я.

– Ты забыл, что у тебя на лице шакалий глаз?

– Волчий.

Он придвинулся ближе, и я почуял запах пива. Теперь я смотрел на него так же пристально, как и он на меня.

– Уже с нетерпением жду дня, когда ты мне расскажешь об этом, прямо изнываю от желания. Или от ужаса.

Этот смешок я пропустил.

– Так вот, Следопыт. В твоем городе я не нашел ни одного малого, с кем позабавиться. Как ты справляешься с ночным голодом?

– Я вместо этого жажду утоляю, – произнес я, и он рассмеялся.

А ведь и вправду в те годы я жил, как монах. Если только путешествие не заводило меня слишком далеко и не находились миленькие ребятки, не столь миленькие, как евнухи, зато куда более умелые в любовных играх, ну и женщины подходящие.

– Чем занимался ты в последние годы, Следопыт?

– Слишком многим и слишком мелким.

– Расскажи мне.

Вот те истории, какие я рассказал Леопарду, пока он пил вино и крепкий напиток на постоялом дворе «Куликуло».

Пять лет назад я жил не в Малакале, а в Калиндаре, спорном королевстве на границе с югом. Приютившем лордов-лошадников покруче, чем тут или в Джубе. По правде, местечко больше напоминало набор конюшен с пристройками для людей, чтоб было где перепихнуться, поспать и заговор сплести. Неважно, с какой стороны ты шел, до города можно было добраться только по изматывающей грунтовой дороге. Собирались там люди, любящие войну, люди суровые и мстительные в ненависти, страстные и буйные в любви, что презирали Богов и частенько бросали им вызов. Так что, само собой, я устроился там как дома.

Так вот, в Калиндаре был один Принц без положенных принцу владений и угодий, что уверял, что дочь его похитили бандиты по дороге на север. И вот какой они требовали выкуп: серебро весом в 15 лошадей. Слышь, Принц этот послал своего слугу привести меня, что тот и попытался проделать, по мере сил подражая мерзким манерам Принца. Я отправил его обратно без двух пальцев.

Второй слуга Принца кланялся и просил меня доставить Принцу удовольствие своим появлением. Так что пошел я во дворец, в каком было пять комнат, стоявших одна на другой, с двориком, забитым курами. Но было у него золото. Он носил его на зубах, продетым сквозь брови, а когда уборщик нужника проходил мимо, то нес горшок для сранья из чистого золота.

– Ты, человек, отнявший у моего стража пальцы, я нашел для тебя полезное дело, – молвил Принц.

– Я не смогу найти королевство, какого ты не терял, – сказал я. В Калиндаре двусмысленный язык не в ходу, так что фраза моя разом обратно в море канула.

– Королевство? Мне не нужно находить королевство. Пять дней назад бандиты похитили мою дочь, вашу Принцессу. Потребовали выкуп, серебра весом в 15 лошадей.

– Ты заплатишь?

Принц потер нижнюю губу, по-прежнему смотрясь в зеркало.

– Прежде мне нужны заслуживающие доверия слова, что ваша Принцесса еще жива. Говорили, что у тебя нюх.

– Это так. Ты хочешь, чтобы я нашел ее и вернул обратно?

– Послушайте только, как он с Принцами разговаривает! Нет. Я желаю только, чтоб ты нашел ее и предоставил мне толковый отчет. Потом я решу.

Принц кивнул какой-то старухе, и та швырнула в меня куклой. Я поднял ее и обнюхал.

– Цена – семь раз по десять золотых, – сказал я.

– Цена – я пощажу твою жизнь за твою дерзость, – сказал он.

Этот Принц без кола и двора пугал, как младенец, заходящийся над собственными какашками, какими себя же и обложил, однако я отправился отыскивать Принцессу, потому как случается, что дело само себя окупает. Особенно когда запах ее повлек меня не к северным дорогам, и не к бандитским городкам, и даже не к вырытой в земле пустой могиле, а на непродолжительную утреннюю прогулку от маленького дворца ее отца. К хижине возле места, где когда-то был оживленный рынок фруктов и мяса, но теперь поросшего диким кустарником.

Отыскал я ее ночью. Ее и ее похитителей женщин, один из них трясся от полученной оплеушины.

– Десять и еще пять лошадей? И это все, что я есть для тебя, 15 лошадей? И серебром? Неужто ты столь низок по рождению, что считаешь, будто я столько стою?

Она ругалась и брюзжала так долго, что это стало мне докучать, а она все упрямилась. Готов поклясться, что похититель уже подумывал, а не заплатить ли Принцу, чтоб тот ее обратно взял. Я учуял в нем дар оборотня, такой же котяра, как Леопард. Лев, наверное, и лежавшие вокруг остальные мужчины были его прайдом, и женщина у костра, та поглядывала на них сердито и с превосходством главной самки. Все они набились в комнату с Принцессой, трещавшей, как какаду. План был таков. Этот лев со своим прайдом похищает Принцессу и требует некую сумму. Сумму, какую Принц с готовностью уплатит, поскольку дочь для него дороже серебра или золота. Серебро Принцесса пустила бы на оплату наемников, чтоб свергнуть Принца, у кого не было ни владений, ни угодий. Поначалу я думал, что она походила на тех мальчиков и девочек, что, будучи похищены слишком юными, оказавшись в плену, начинают проникаться симпатией к тем, кто их пленил. Даже любовью. Но потом она заговорила:

– Мне следовало бы леопардов взять, те по крайней мере умны. – Главный лев-человек заревел так громко, что это перепугало людей на улице.

– По-моему, я знаю, чем эта история закончится, – сказал Леопард. – Или, может, я просто тебя знаю. Ты доложил Принцу про заговор его дочери, потом смылся так же тихо, как и пришел.

– Леопард, дружище, что было б в том забавного? А кроме того, дни мои были долгими, а дела еле двигались.

– Ты скучал.

– Как бог какой, что ждет, чтоб человек удивил его.

Он ухмыльнулся:

– Так поспеши же, поведай, что ты сотворил, чтоб и я смог рассказать тебе мою собственную историю.

– Я вернулся к Принцу и дал ему толковый отчет. «Добродетельный принц, – сказал я, – мне еще предстоит отыскать бандитов, но на своем пути я проходил мимо домика возле старого рынка, где какие-то мужчины готовили заговор с целью отобрать у тебя корону». – «Что? Ты в том уверен? Что за мужчины?» – спрашивал он. – «Я не всматривался. Вместо этого поспешил

обратно к тебе. Теперь сразу пойду искать твою дочь», – сказал я. – «А мне что делать с этими мужчинами?» – «Пошли людей к тому домику под видом татей ночных и спали его ночью до основания».

Леопард уставился на меня, готовый сорвать историю прямо с моих губ.

– Послал?

– Кто знает. Но в следующую луну я видел его дочь у нее в окне: голова торчала черным пеньком.

– Такая у тебя история? Расскажи мне другую.

– Нет. Ты расскажи мне про свои странствия. Что делать Леопарду в новых землях, где он не может охотиться?

– Любой леопард отыскивает мясо, где только может его сыскать. И потом, есть там чем нам питаться! Но ты ж меня знаешь. Звери вроде нас никак не созданы для одного места. Однако никто не странствует так далеко, как я. Я и на корабль сел, вдаль рвался. Я ходил по морю, потом на другой корабль пересел и дальше ходил по морям много-много лун.

Он взобрался на кресло и ссутулился на сиденье. Я знал, что он так сделает.

– Я видел громадных морских зверей, среди них и того, что по виду на рыбу похож, но способен корабль проглотить целиком. Ты видел корабли, Следопыт? Это лодки, сделанные для великанов, в них есть комнаты, похожие на гостиничные номера, они вмещают сотню людей, а то и больше. У них на нижней палубе люди гребут под барабан – все они такие муки переносят! – а над палубой к столбам привязаны огромные куски холста, какие ловят ветер, и тот толкает корабль в море. Большинство кораблей строили люди из этих земель, что последовали за Светом с востока. Я отца своего нашел.

– Леопард! Ты ж считал, что он умер?

– Так он и сделал! Человек этот был кузнецом и жил на острове посреди реки. Я забыл его имя.

– Нет, не забыл.

– Етить всех богов, может, и не хочу. Не был он больше кузнецом – просто старый человек, ожидающий смерти. Я побыл там с ним. Видел, как он стал забывать, что помнил, потом видел, как он стал забывать, что забывал. Послушай, не было в нем ничего от леопарда: он все позабыл про то, как жил с молодой женой и семьей под одной крышей, что уж никак не в натуре леопарда. «Проклятье тебе и твоим усам», – говорил он мне много раз. Но бывали дни, когда он смотрел на меня и рычал, и ты б видел, как он пугался, понять пытаясь, откуда рычание раздается. Раз я обратился у него на глазах, и он вскрикнул, как вскрикивают старики, – беззвучно. Никто не поверил ему, когда он заорал: «Смотрите, котяра дикий, он меня съест!»

– Очень печальная история.

– Будет еще печальнее. У детей его, что в том доме жили, моих братьев и сестер, у всех было что-то кошачье. У самого младшего – пятна по всей спине. И ни одному не нравилось одежду носить, даром что на этом острове посреди реки мужчины и женщины закутываются так, что одни глаза и видно. Когда отец умирал, то на смертном одре своем то и дело обращался из человека в леопарда и опять в человека. Это перепугало детей и доставило горе их матери. В конце концов в комнате остались только я, мой самый младший брат и он, потому как все, кроме самого младшего, решили, что это колдовство. Самый младший смотрел на своего отца и наконец-то разглядел себя. Оба мы обратились в леопардов, и я лизал лицо моего отца, успокаивая его. Я ушел, когда погрузился он в бесконечный сон.

– Грустная история. И все ж присутствует в ней красота.

– Ты теперь любитель красоты?

– Видел бы ты, кто еще сегодня утром покинул мою постель, не спрашивал бы этого.

Смех его мимо меня прошел. Весь постоялый двор слышал, когда Леопард смеялся.

– Скитальцем я стал, Следопыт. Странствовал от земли к земле, от королевства к королевству. Был в царствах, где кожа у людей бледнее, чем песок, и каждые семь дней едят они собственного своего бога. Был я фермером, наемным убийцей, даже имя себе взял – Квеси.

– Что оно означает?

– Етить всех богов, если я знаю. Я даже лицедеем стал, развлекал народ искусством непотребностей.

– Что?

– Хватит, дружище. Разыскал я тебя по той причине…

– Етить всех богов с твоей причиной. Я хочу еще послушать про искусства непотребностей.

– У нас не так-то много времени, Следопыт.

– Тогда расскажи по-быстрому. Но не пропускай никаких подробностей.

– Следопыт!

– Или я встану и уйду, оставив тебя один на один со счетом, Квеси.

Он только что не вздрогнул, когда я произнес это.

– Хорошо. Хватит. Был я, значит, солдатом.

– Непохоже на начало непотребной истории.

– Етить всех богов, Следопыт. Может, история начинается, когда человек отыскал армию…

– Севера или Юга?

– Обделайся оба. Человек этот, говорю, отыскал армию, какой нужен был наивысшего мастерства лучник. Человек этот оказался в землях без еды, без развлечений. Человек этот, может, как никто, умел истреблять врагов, но никак не умел уживаться в мире среди солдат, своих же товарищей по оружию. Впрочем, с одним-двумя из них, посимпатичнее, повозиться стоило.

– Леопард – как всегда.

– Вот как это произошло. Мы напали на селение, где у жителей не было оружия, кроме камней для рубки мяса, и сожгли дотла хижины вместе с бывшими в них женщинами и детьми. Такое случалось. Я говорил: я не убиваю женщин с детьми, даже когда голодный. Командир наш, мелкий сучонок, говорит: тогда бей их из лука. Я говорю: они не воины, сражающиеся на войне, – а он мне: у тебя приказ. Я ушел, потому как я не солдат, а битва наша не стоила денег. Скажу, и это тоже произошло. Мелкий сучонок заверещал: «Предатель!» – и мигом его люди бросились ко мне, в то время как солдаты продолжали жечь детей, загнанных в хижины. Четверо солдат подступили ко мне, только я уже успел пустить четыре стрелы меж четырех пар глаз. Мелкий сучонок попытался снова заверещать, но моя пятая стрела пробила ему горло. Так что нечего и рассказывать тебе, Следопыт, что пришлось мне удирать под покровом дыма от пожарища. Только потом я днями бродил, прежде чем выяснилось, что забрел в Песочное море, где ничто не живет.

Четыре дня без воды и пищи, и я стал видеть шагающую по облакам толстуху, львов, шагающих на двух лапах, и караван, шедший, не касаясь песка. Люди из каравана подобрали меня и швырнули в обоз. Я очнулся, когда мать одного мальчика велела ему брызнуть мне водой в лицо. Караван бросил меня возле чьего-то крыльца в Увакадишу.

– Теперь, стало быть, ты наемник, – сказал я.

– Нет, гляньте на этого прокаженного, винящего другого прокаженного в проказе!

– Только я нахожу людей, а не убиваю их.

– Нет, ты охотишься за ними. К чему нам война из-за слов? Ты счастлив, Следопыт?

– Я многим доволен. Мир этот и не думает одаривать меня хоть чем-то, и все-таки у меня есть все, что мне нужно.

– Дурак, я не о том тебя спрашивал.

– Звери нынче счастья ищут? Будь поменьше человеком и побольше Леопардом, если уж собираешься человеком быть.

– Етить всех богов, ищейка, простой же вопрос. Самый длинный ответ – всего одно слово.

– Это касается твоего предложения?

– Нет.

– Тогда вот тебе ответ. Я занят, и лучше иметь занятие, чем скуку терпеть, разве не так?

– Я жду…

– Чего?

– Когда ты скажешь, мол, грусть – не отсутствие счастья, а противоположность ему.

– Я когда-нибудь говорил такое?

– Ты говоришь нечто близкое. И кому принадлежит твое сердце?

– Ты как-то сказал мне, что никто не любит никого.

– Возможно, я был молод и влюблен в собственный член.

– *Jakrari mada kairiwoni yoloba mada*.

– Какая польза от такого языка котяре?

– Тебе твой член вроде верблюда.

Я уж было начал нести ему всякое, но тут услышал, что котяра смеется.

– Я не доверяю людям, какие отправляются в путешествия без возврата, это ничего им не дает. Я был, скажем так, разочарован в людях, кому нечего терять, – сказал он.

– Ты счастлив?

– Отвечаешь вопросом на вопрос?

– Так ведь глянь на нас: завываем, как первые жены мужей, какие больше нас не хотят. Впрочем, я ж малый, никем не взращенный, а ты притворяешься, что ты человек, когда тебе это надо, только бегает множество заколдованных зверей, умеющих говорить. Каким бы ни было это самое твое предложение, мне оно нравится все меньше и меньше.

– Мое предложение, Следопыт, еще не сошло с моих уст.

– Это так, но ты что-то такое проверить стараешься.

– Прости меня, Следопыт, но я не видел тебя много-много лун.

– И ведь это ты, кто меня отыскал, котяра. А теперь тратишь попусту мое время. Вот монета за твою сырую кабанятину. И еще одна сверху – за всю кровь, какую в ней для тебя оставят.

– Мне приятно видеть тебя.

– Готов был сказать то же самое, а ты вдруг принялся душу мне бередить.

– О, брат, о душе твоей я все время думаю. И тревожусь тоже.

– Это тоже часть тревоги?

– Что?

– Сраная твоя проверка.

– Следопыт, мы свободнорожденные. Я пью и ем с другим. По крайней мере, сядь, раз уж не намерен есть.

Я встал, уходя. И уже прилично отошел от него, когда сказал:

– Извести меня, когда я прошел какую ни на есть проверку, что ты пытался мне устроить.

– Ты думаешь – прошел?

– Прошел, когда я в эту дверь вошел. Иначе ты четыре дня ждал бы, чтоб наведаться ко мне. Ты, Леопард, хоть когда различаешь человека, кто понятия не имеет, что он несчастлив? Ищи его в шрамах на лице его женщины. Или в совершенстве его резьбы по дереву или ковке металла, или в масках, им изготовленных для того, чтоб самому носить, потому как он не позволяет миру видеть его лицо. Я не счастлив, Леопард. Но я и не несчастлив, насколько мне известно.

– У меня привет тебе от ребятни.

Он знал, что это остановит меня.

– Что? Как?

– Я все еще торгую с Гангатомом, Следопыт.

– Говори, что они просили передать. Сейчас же.

– Не сейчас. Верь мне, девчушка твоя живет прекрасно, пусть даже по-прежнему фукает да шикает, голубым дымом оборачивается, когда из себя выходит, что частенько бывает. Ты их видел?

– Нет, давно уже.

– А-а.

– Что значит это «а-а»?

– Странное выражение на твоем лице.

– Нет у меня никакого странного выражения.

– Следопыт, да ты весь из странных выражений. Ничему и никогда не скрыться на твоем лице, как бы упрямо ты ни старался скрыть это. Как раз поэтому я и способен судить, по душе или нет тебе люди. Ты наихудший в мире лгун и единственное лицо, какому я доверяю.

– Я хочу послушать о ребятне.

– Само собой. Они…

– Разве никто не сказал, что я навещал их? Ни один?

– Ты только что заявил, что не видел их. Давно уже – ты сам это сказал.

– Давно уже, может, оно и было, если они говорят, что лица моего не видели.

– Еще больше странного, Следопыт. Детишки упитаны и улыбчивы. Альбинос скоро станет там лучшим воином.

– А девчушка?

– Я только что рассказал тебе о ней.

– Ешь.

– Нам есть что еще обсудить, Следопыт. Оставим пока ностальгию. – Он взял последний кусок мяса в рот и стал жевать. На блюде осталась кровь. Он посмотрел на нее, потом глянул на меня.

– Ой, Леопард, да будь ты, вонючка сраная, зверем. Твоя нужда в одобрении человека меня тревожит.

Он растянул рот в ухмылке до ушей, поднес блюдо к лицу и начисто вылизал его.

– Не свежая убоина, – заметил я.

– Ничего, подойдет. Ну и наконец, зачем я к тебе пришел.

– Что-то там про муху.

– Это просто обозначение.

– Зачем ты спрашивал, счастлив ли я?

– Это путь, на какой я прошу тебя ступить. О, Следопыт, чего он только из тебя не потянет! Лучше, если б у тебя с самого начала ничего не было.

– Только что ты уверял, что было б лучше, если мне есть что терять.

– Я говорил, что разочаровался в людях, у кого нет ничего. Некоторых. Но Следопыт, какого я знаю, и не имеет ничего, и ничего не возделывает. Это изменилось?

– А если да?

– Я задал бы иные вопросы.

– Откуда ты знаешь, что я их не задаю?

– Следопыт? Что за… – Леопард круто обернулся, пытаясь понять, что вызвало мои слова.

– Ничего, – пожал я плечами. – Показалось, заметил… показалось, пришло и обратно ушло… Это…

– Что?

– Ничего. Так, шальная мысль. Ничего. Так, выкладывай, котяра, я терпение теряю.

Леопард соскочил с кресла и распрямил ноги. Вновь сел, уже нормально, лицом ко мне.

– Он зовет его мушкой. По мне, это странно, что он так делает, особенно голоском своим, что больше похож на старушечий, чем на мужской, только, по-моему, эта муха дорога ему.

– Еще раз. На этот раз – со смыслом.

– Могу рассказать тебе только то, что этот мужик мне рассказал. Выразился он очень ясно: оставьте указания мне, сказал. Етить всех богов и вы, люди, кто не выражается точно. И ты обделайся – видел я выражение на твоей морде. Друг, вот что мне известно. Есть ребенок, малец, кто пропал. Городские власти говорят, что, вероятнее всего, его унесло рекой или, возможно, его слопали крокодилы или речное племя, поскольку, когда голоден, что угодно слопаешь.

– Чтоб твою мать тыщу раз отымели.

– Тысячу и один раз, коль скоро мы заговорили о моей матери, – поправил Леопард и рассмеялся. – Вот что мне известно. Городские власти считают, что ребенок либо утонул, либо его убили, либо какой-нибудь зверь съел. Однако этот торгаш, Амаду Касавура, под таким именем он значится, человек зажиточный и со вкусом. Он убежден, что его ребенок, его мушка, жив и движется на запад. В его доме есть убедительные данные, Следопыт, свидетельства, так что истории его веришь. Кроме того, он человек богатый, очень богатый, учитывая, что ни один из нас за дешево не продается.

– Нас?

– Он ввел в дело девятерых, Следопыт. Пять мужчин, три женщины и, будем надеяться, ты.

– Стало быть, кошелек – это самое выгодное в нем. А ребенок? Его собственный?

– Он не говорит ни да, ни нет. Он работорговец, продает чернокожих и краснокожих рабов на корабли, какие приходят от людей, что последовали за Светом с востока.

– У работорговцев нет ничего, кроме врагов. Может, кто убил ребенка.

– Может быть, только он тверд в своем желании, Следопыт. Знает, что мы могли бы найти труп, когда от него одни кости останутся. Но тогда он, по крайности, знал бы, а знать наверняка лучше, чем годами мучиться. Но я слишком многое пропускаю и перехожу к миссии…

– Миссии, да? Теперь нам предстоит стать жрецами?

– Следопыт, я из кошачьих. По-твоему, сколько распроклятущих слов я знаю?

На этот раз рассмеялся я.

– Я рассказал тебе, что знаю. Барышник платит девятерым либо за то, чтобы найти мальца живым, либо за доказательство его смерти, и ему все равно, как мы будем вести поиск. Малец может быть за две деревни отсюда, может быть в южных королевствах, может быть, кости его похоронены в Мверу. У тебя нюх, Следопыт. Ты способен отыскать его за дни.

– Если охота так быстра, то зачем ему девятеро?

– Умница, Следопыт, разве тебе не ясно? Малец не убежал. Его увезли.

– Кто?

– Лучше, чтоб это исходило от него. Если объясню я, ты, может, не пойдешь.

Я уставился на него.

– Это выражение твоего лица мне известно, – произнес Леопард.

– Какое выражение?

– Такое выражение. Тебя интерес с головой накрыл. Ты самой идеей обжираешься.

– Ты слишком много на лице моем вычитываешь.

– Не только в твоем лице дело. В самом крайнем случае впрягайся, потому как будет чем головы дурить и это не будет деньгой. Теперь что до желаний…

Я взглянул на этого человека, кто незадолго до того, как солнце село, убеждал хозяина постоялого двора подать ему на ужин сырое мясо, пропитанное собственной кровью. Потом я

учуял кое-что, то же, что и прежде, на Леопарде и все ж не на нем. На дворе запах был сильнее, потом ослабел. Опять сильный, сильнее, потом слабее. Запах делался слабее всякий раз, когда Леопард отворачивался.

– Кто это, тот малый, что идет за нами? – спросил я.

Говорил я довольно громко – чтоб малый слышал. Он перебирался из одного темного места в другое, из черной тени от столба до красного света, отбрасываемого факелом. Скользнул в дверной проем закрытого дома, меньше чем в двадцати шагах от нас.

– Что бы мне знать хотелось, Леопард, так это позволишь ли ты мне метнуть топорик и раскроить ему башку надвое, прежде чем признаешься, что он твой.

– Он не мой, и, боги свидетели, я не его.

– И все ж я чуял его запах все время, пока мы на постоялом дворе были.

– Надоеда – вот кто он, – вздохнул Леопард, следя за тем, как малый выскользнул из дверного проема – слишком натужно следил. Малый не высок, но достаточно тощ, чтобы сойти за высокого. Кожа темная, как тень, красная мантия, завязанная у горла, доходила до бедер, выше локтей ленточные красные перетяжки, на запястьях золотые браслеты, полосатая юбка вокруг талии. Он носил лук и стрелы Леопарда.

– Спас его от пиратов то ли в третьем, то ли в четвертом плаванье. Теперь отказывается оставить меня в покое. Клянусь, его ко мне ветром прибивает.

– По правде, Леопард, когда я говорил, что то и дело чуял его, я имел в виду – чуял его на тебе.

Леопард прыснул смехом – коротко, как ребенок, пойманный в миг, когда он готов был набедокурить.

– У причудливых зверей причудливые позывы, Следопыт. В его руках мой лук, когда я своими не владею, и он всегда находит меня, куда бы я ни пошел. Кто знает, кроме богов? Может, станет рассказывать восхитительные сказки про меня, когда меня не станет. Я пописал на него, помечая, что он – мой.

– Что?

– Шутка, Следопыт.

– Шутка не означает неправды.

– Я же не животное.

– С каких это пор?

Я удержался от расспросов, не второй ли это малый, кого он с пути сбивает, мол, тот безо всякой надежды в ожидании чего-то, чего ты ему никогда не дашь, потому как то, что ты даешь, это вовсе не то, твои глаза его глаза видят, твой слух внимает всему, что он говорит, твои губы для его губ, все то, что ты ему дать и у него отнять способен, и ничего из того, что ему нужно. Или он твой десятый? Вместо этого сказал:

– Где этот работорговец?

Работорговец был с севера, тайно торговал с Нигики, но он и его караваны, полные свежих рабов, устроили лагерь в долине Увомовомовомово, меньше чем в четверти дня пути от Малакала, а то и быстрее, коль скоро всего и надо-то было, что по склону спуститься. Я спросил Леопарда, не испытывает ли этот человек страха перед бандитами.

– Как-то раз шайка воров попыталась ограбить его возле Темноземья. Приставили ему нож к горлу и смеялись, что у него всего три охранника, с кем они легко расправились, и как же это так, что у самого Барышника при себе нет никакого оружия при таком-то товаре? Воры ускакали на конях, но работорговец с помощью говорящего барабана сообщил, куда направились воры, еще до того, как они до ворот доскакали. К тому времени, когда в ворота въезжал Барышник, три грабителя были прибиты к ним гвоздями, кожа у них на животах распластана, а кишки свисали из них на всеобщее обозрение. Нынче он водит караваны в сопровождении всего четырех человек, что кормят рабов на пути к побережью.

– Я уже пылаю к нему великой любовью, – сказал я.

На цыпочках миновал хозяйку постоялого двора: она пару дней назад уведомила меня, что я на два дня задержал плату, и, обхватив руками свои могучие груди, сказала, что есть и иные способы расплатиться. У себя в комнате я собрал плащ из козлиной шкуры, два бурдюка с водой, немного орехов в мешочке и два ножа. И вылез через окно.

Мы с Леопардом отправились на своих двоих. Пришлось одолеть первый спуск, пройтись немного по ровной земле, потом опять одолеть крутой спуск и, спускаясь по скалистым холмам, выйти прямо в долину. Леопард в жизни не ездил на спине другого животного, а у меня в жизни своих лошадей не было, хотя нескольких я и крал. На подходе к воротам я заметил, что малый шагает за нами, все так же прыгая от одной древесной тени к другой, прячась за пеньками развалин старинных башен, стоявших тут задолго до того, как Малакал стал Малакалом. Однажды я ночевал тут. Духи были приветливы, а может, им все равно было. Руины оставили люди, постигшие секреты металлов и умевшие вырубать черный камень. Стены безо всякого раствора, просто кирпич поверх кирпича, порой они изгибались в купол. Какой-нибудь житель Песочного моря, кто века считал, сказал бы, что старинному Малакалу веков шесть, а может, и больше. Понятное дело, в те времена стены были нужны людям столько же, чтоб за ними укрываться, сколько и чтоб из них не выпускать. Оборона, богатство, власть. В ту единственную ночь я смог постичь старый город: прогнившее дерево дверных проемов, ступени, переулочки, проходы, водоводы для чистой воды и водосливы для нечистот – все это внутри стен в семьдесят шагов высотой и в двадцать шагов толщиной. А потом в один день все жители старого Малакала пропали. Вымерли, сбежали – этого ни один гриот не помнит и не знает. Ныне кварталы искрошились в щебень, который заставлял петлять туда-сюда, вокруг, назад и вниз там, где когда-то была улочка, застревать в тупиках, откуда некуда было идти, кроме как назад возвращаться, только возвращаться – куда? Лабиринт. Малый, до того державшийся позади нас, тут пропал.

– По правде, ты способен отхватить человеку голову за один укус, а он почему-то больше меня боится. Как его зовут?

Леопард, как обычно, ушел вперед.

– Я так и не удосужился спросить, – сказал он и рассмеялся.

– Етить всех богов, если ты не самый худший из котяр, – пробурчал я.

Я держался в нескольких шагах позади, пока и сам не потерялся в тени. Видел, как малый старался двигаться от пенька к пеньку, от руины к руине, от одной осыпающейся стены к другой. По правде, мог бы следить за ним до самого темна. Он упал в развалины, что были не очень-то и глубоки, и пытался сам выбраться из них. Когда он пустился бежать, запах его малость изменился: он всегда менялся, если страх или восторг одолевал. Споткнувшись о мою ногу, малый полетел в грязь.

Наверное, нога моя поджидала его.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Не твое дело знать, – ответил он, вставая. Важно надулся и смотрел мимо меня. Выглядел он старше, чем раньше: один из тех, кому даже десять и еще девять лет может быть, но в его сознании все равно десять и еще три. Я глядел на него, думая, что останется, когда Леопарду от него не будет больше никакой пользы.

– Я мог бы оставить тебя в этих руинах, и ты пропадал бы целый день. А где бы был к тому времени твой драгоценный Леопард, скажи мне?

– Один кирпич и дерьмо, никому не нужное.

– Берегись. Предки услышат тебя, и тогда ты вовек не выберешься.

– Все его друзья дураки, как ты?

Я швырнул в него первое, что под руку попалось. Он мигом словил. Молодец.

Но сразу бросил, едва увидел, что это череп.

– Ты ему не нужный.

Я направился прочь, туда, где, как я знал, были ворота.

– Ты куда?

– Назад. Похлебать приличный суп у неприличной женщины. Рассказать твоему… как бы ты его ни называл… что ты сказал, что я ему не нужен, вот я ушел. То есть это если ты сумеешь выбраться из этих развалин.

– Погоди!

Я обернулся.

– Как мне отсюдова выбраться?

Я пошагал мимо него, не дожидаясь, когда он за мной пойдет. Я ступил на холодный пепел от давно угасшего пожара. Из пыли торчали кусочки белой ткани, свечного воска, гнилой плод и зеленые бусины, бывшие, может, бусами. Кто-то пробовал воззвать к предкам или богам больше луны назад. Мы смогли выбраться из руин и последних из деревьев к краю равнины. Еще одна ночь без луны.

– Так как тебя зовут? – спросил я.

– Фумели, – буркнул он, уставившись в землю.

– Береги свое сердце, Фумели.

– Это что значит?

Я сел на валун. Глупостью было бы спускаться в долину в такой темноте, хотя я и чуял, что Леопард уже на полпути туда.

– Мы спим тут до первого света.

– Но он же…

– Будет крепко спать прямо там, пока мы не разбудим его утром.

Две мысли и один сон наведались ко мне в ту ночь.

Леопард говорит много такого, что скатывается с него, как с гуся вода, зато пятном липнет ко мне. По правде, бывает время, когда у меня появляется желание отмыться от него. Всегда рад его видеть, но никогда не грущу, когда он уходит. Он спрашивал меня, счастлив ли я, и я до сих пор понять не могу ни вопроса, ни того, что он узнал бы из ответа.

Никто не улыбается больше, чем Леопард, только он говорит одно и то же, будь то в радости или в печали. По-моему, и то, и другое – личины, какие он надевает перед тем, что задевает глубоко, прежде всего душу. Счастье? Кому нужно счастливым быть, когда есть пиво масуку? И душистое мясо, хорошая деньга и теплые тела в постели рядом? И потом, быть мужчиной в моей семье – значит упустить счастье, какое зависит от слишком многого, что не в нашей власти.

Когда есть за что сражаться или когда нечего терять – когда из тебя получается превосходный воин? У меня ответа нет. О детишках я думал больше, чем верилось, что стану думать. Вскоре я до того стал ощущать это чем-то вроде легкого удара в голове или учащения сердцебиения, что, даже убеждая себя: это прошло, тревожиться не о чем, детишками этими я благо сотворил или, во всяком случае, что мог, то все сделал, – а являлось чувство, шептавшее: не все. Темный вечер стал еще темнее. Не одно ли это из того, что Сангома пятном оставила на мне, гадал я, или, может, легкое помешательство?

Я проснулся, когда малый склонился надо мной.

– Твой другой глаз в темноте светится, как у собаки, – выговорил он. Я бы закатил ему оплеуху, да свежий порез у него над правой бровью сочился кровью.

– Какие скалы скользкие с утра! Особенно если дороги не знаешь.

Малый недовольно зашипел. Он подобрал Леопардов лук с колчаном. Хотел бы я знать, заставлял ли хоть кто меня так трепетать, как Леопард этого малого.

– И я не храплю, – сказал я, но он уже бежал вниз к долине, пока не остановился.

Прошелся, сел на камень и задумался в ожидании, когда я окажусь всего в нескольких шагах позади него, после чего снова пошел. Но не очень далеко, ведь, куда идти, он не знал.

– Погладь ему животик, – сказал я. – Ему это нравится. Великое удовольствие.

– Ты-то откуда это знаешь? Ты, должно, всяких разных людей перегладил.

– Он же из кошачьих. А кот любит, когда ему пузик гладят. Совсем как собака. У тебя в башке твоей что, совсем ничего нет?

Почва стала красной и влажной, зеленые пеньки лезли под ноги, словно бугорки. Чем ниже мы спускались, тем просторней выглядела долина. Она уходила к самому краю неба и дальше. Мудрые говорили, что когда-то долина была просто небольшой речкой, богиней, позабывшей, что она божество. Речка змеилась через долину, смывала землю, слой грязи за слоем, камень за камнем, глубже и глубже, пока ко времени человека этого века не покинула долину, которую прорезала так глубоко, что человек не стал понимать обратное: не земля лежит так низко, а гора вздымается так высоко. Глядя вверх, пока мы спускались вниз, поглядывая на небо и туман, мы видели, как теснили горы одна другую, и каждая из них была больше города. Высокие до того, что окрашивались в цвет неба, а не кустарников. Из одного этого хотелось взор обращать к небу, а не к земле. К грязи, пока та краснела, к кустикам, пока те уступали место деревьям, к речке прозрачной, как стекло, а в ней – толстые нимфы с широкими бабьими головами и растянутыми ртами, днем они не прячутся, зная, что этот караван не за такой, как они, добычей охотится.

Малый, чье имя я успел забыть, вовсю припустил за леопардом, как только мы спустились с горы. По правде, я знал, что это не Леопард, знал, что эта кошка очень разозлится. Малый ухватил леопарда за хвост, тот прыжком развернулся и зарычал, потом присел и прыгнул на малого. Еще один рев раздался неподалеку от первого каравана, когда этот леопард припечатал малого к земле. Малый вскочил, отряхнулся, пока никто не видел, и побежал к Леопарду. Остановился прямо перед ним. Леопард сидел на травке и смотрел на реку. Он повернулся ко мне и улыбнулся, но малому не сказал ничего.

– Твой лук и колчан. Я принес, – сказал малый.

Леопард кивнул, глянул на меня и спросил:

– С Барышником встречаться будем?

Барышник раскинул палатку перед своим караваном. А караван был длинный, как улица в Малакале. Четыре фургона, какие я видел только по границе с королевствами севернее Песочного моря, среди народа, что бродяжничает и нигде не пускает корня. Первые два тащили лошади, волы тянули два последних. Пурпурные и розовые, зеленые и голубые – будто самая ребячливая из богинь раскрасила все их. Позади фургонов – повозки, открытые и сколоченные вместе из дерева. На повозках – женщины, от толстух до худышек, некоторые в красной охре, некоторые лоснятся от масла масляного дерева и жира. На одних лишь дешевые безделушки, у других ожерелья, а шкуры козлиные расписаны желтым и красным, кое-кто при полном наряде, но большинство голые. Все захвачены и проданы или похищены с приречных территорий. Нет ни одной с рубцами Ку или Гангатома. Или со скобленными зубами. Мужчины на востоке такое красивым не считают. Позади этих повозок – мужчины и мальчики, высокие и тощие, как посыльные, никакого жирка под подбородком, одна кожа да мышцы, длиннорукие, длинноногие, многие красивы и мрачнее полдня мертвых. Ладные, как воины, потому как большинство и были воинами, потерпевшими поражения в своих маленьких войнах, они теперь должны были делать то, что делают проигравшие войну солдаты. Все носили цепи, что связывали железный обруч на шее с кандалами на ногах, каждый был прикован к тому, кто впереди, и тому, кто сзади. Людей с оружием было видно меньше, чем я ожидал. Семь, может, восемь мужчин с мечами и ножами, всего двое несли луки, а еще четыре женщины – абордажные сабли и секиры.

– Вовремя. Он собрал двор и вершит суд над нечестивыми, – с улыбкой произнес Леопард, и я подумал, что это шутка.

Однако за караванами, перед большой белой палаткой с куполом и развевающимися пологами, восседал Барышник. Справа от него на земле сидел, подобрав колени, человек и держал тонкую курительную трубку, а на коленях – свернутый коврик. От него справа еще один человек, тоже без рубахи, как и сидевший на коленях, стоял с золотой чашей в руке и лоскутом ткани, словно бы изготовился омыть Барышнику лицо. Прямо за ним стоял еще один, черный в тени зонтика, каким он оттенял своего хозяина. Еще один держал блюдо с финиками, готовый его кормить. Нас Барышник взгляда не удостаивал. Зато я разглядывал его, сидящего, как принц, каким он, может, и был. Калиндар был известен им, но принцы без королевств, говорят, успели и Малакал загадить, потому как Король был прижимист на благосклонности. Слуги накинули на левое плечо Барышника длинный халат, оставив правое обнаженным – по обычаю принцев. Из-под него выглядывал белый, внутренний халат, скрывавший королевские регалии, державу и скипетр. Руки его обвивали золотые браслеты в виде двух змей, застывших в убийственном извиве. Кожаные сандалии на грязных ногах, женская шапка с шелковыми ушками укрывала его худое лицо, скулы на нем вздымались так высоко, что почти скрывали глаза, небольшие усы и бородка. На нас он не глядел.

На коленях перед ним стояли мужчина и женщина, обоих пинками поставили на колени стоявшие за ним две женщины-охранницы. Мужчина плакал, женщина хранила каменное молчанье. Она, краснокожая рабыня, была не так мрачна, как кандальники сзади, рабыня с белыми зубами и глазами безо всякого изъяна. Красавица. Ей предстояло быть младшей женой другого хозяина, а может, и хозяина на востоке, где и у младшей жены мог быть собственный дворец. Женщину похитили из Луала-Луала или даже еще дальше с севера: нос у нее был прямой, губы тонкие. Мужчина был темнее и блестел от пота, а не от масел, какими натирали рабов, чтоб цену побольше срубить. Мужчина был наг, женщина в платье.

– Говори мне правдиво, говори быстро, говори сразу. Человек живет, чтоб красть, гость нападает на хозяина, но ты-то ведь был кандальник в цепях. Человек *ira wewe*. Прикованный к одному и еще двадцати людям тяжелым железом, что кости на ногах ломает. Тебе не уйти, если они не уйдут, тебе не прийти, если они не придут, тебе не сесть, если они не сядут. Так как же ты добрался до *nyny* этой будущей принцессы?

Мужчина ничего не говорил. Не думаю, чтоб он понимал языки среднеземелья. На вид был он человеком, кто жил себе без Короля по берегам реки-двойняшки, крепкий, только крепкий от возделывания земли, а не от охоты или сражений в рядах армий и воинов.

Заговорила стражница позади женщины, сказав, что как раз женщина и разыскала его, во всяком случае, об этом шептались у них за спинами. Мол, возлегла она с ним, пока другие мужчины стояли тихо в надежде, что она и с ними возляжет. Она и повалялась с одним-двумя, но больше всего – с этим.

Женщина рассмеялась.

– Говори мне правдиво, говори быстро, говори сразу. Что я сделаю с краснокожей рабыней, вынашивающей ребенка для чернокожего раба? Ни одному купцу ты не понадобишься, никто и не подумает сделать тебя когда-нибудь своей женой и Королевой. Ты стоишь меньше платьев, в какие одета. Снимите их.

Охранницы схватили ее сзади и сорвали платья. Краснокожая рабыня посмотрела на Барышника, сплюнула и рассмеялась:

– Платья-то я и выстирать смогла б, и другое на себя надеть. Если б не ты.

Подаватель фиников склонился к хозяйскому уху и зашептал что-то.

– Цена тебе меньше, чем самому больному из моих волов. Помолись речной богине, потому как вскоре ты у нее окажешься.

– Лучше сруби мне голову или сожги меня в огне.

– Выбираешь, как тебе умереть?

– Я выбираю не быть тебе рабой.

Я понял ее правду раньше Барышника. Она зачала ребенка от черного раба, потому что хотела этого. Улыбка на ее лице объясняла все. Она понимала, что он убьет ее. Лучше пребывать с предками, чем жить, отданной кому-то еще, кто, может, и добр будет, кто, может, будет жесток, кто, возможно, даже сделает ее хозяйкой множества собственных рабов, но все равно будет оставаться ее владыкой.

– Люди, кто следуют за Светом с востока, были бы добры к тебе. Никогда не слышала о краснокожей рабыне, что стала императрицей?

– Нет, зато слышала про жирного Барышника, кто пах, как бычье дерьмо, и кто рано или поздно задохнется собственным дыханием. Богом справедливости и мести я проклинаю тебя.

Лицо Барышника перекосилось.

– Убейте эту суку сейчас же, – велел он.

Стражница повела ее, хохочущую, прочь. Смех ее звучал в моих ушах, даже когда ее уже не было. Барышник глянул на мужчину и произнес:

– Скажу тебе правдиво, скажу быстро, скажу сразу. Только одно северные владыки любят больше, чем непорочных женщин. Непорочных евнухов. Увести его и исполнить по сему.

Два стражника подхватили раба. Он на ногах не стоял и орал во всю глотку, так что каждый страж ухватился за цепь, и оба потащили его с глаз долой.

Работорговец глянул на меня, будто я был первым из его сегодняшних дел. Он уставился на мой глаз, как все делают, а я уже давно перестал говорить об этом.

– Ты, должно быть, тот, у кого нюх, – сказал он.

Семь

Женщину увели, чтоб утопить, а мужчину – чтоб напрочь лишить его мужского достоинства.

– Ты меня сюда привел на это полюбоваться? – сказал я Леопарду.

– Мир не всегда ночь и день, Следопыт. До сих пор не усвоил.

– Мне известно все, что мне знать надо, про работорговцев. Я рассказывал тебе о временах, когда хитростью довел одного работорговца до того, что он сам себя в рабство продал? Три года ушло у него на то, чтобы убедить своего хозяина, что и он тоже хозяин, – после того, как хозяин ему язык отрезал.

– Ты говоришь слишком громко.

– Знаю.

Перед этим человеком в пыль было брошено такое множество ковров: ковер на ковре, ковры явно с востока, и другие, в цветах, каким нет названия, – что можно было подумать, будто он коврами торгует, а не людьми. Он из ковров стены сотворил: черные ковры с красными цветами и надписями на чуждых языках. Было так темно, что постоянно горели две лампы. Барышник сидел на высоком табурете, пока один прислужник снимал с него сандалии, а другой внес блюдо с финиками. Может, и был он принцем или, по крайности, большим богачом, только ноги у него воняли. Прислужник, державший зонт, попытался снять с хозяина шапку, но получил от него по рукам – не сильно, а игриво, слишком игриво. Еще много-много лун тому назад я зарекся вникать в мелочи поведения людей. Прислужник с зонтиком обратился к нам со словами:

– Достопочтенный Амаду Касавура, лев нижних гор и владыка людей, примет вас до захода солнца.

Леопард повернулся уходить, но я сказал:

– Он примет нас сейчас.

Носитель зонтика справился с отвисшей челюстью.

– По-моему, вы не понимаете нашего языка.

– По-моему, я прекрасно его понимаю.

– Достопочтенный…

– Его достопочтенство, видать, забыл, как разговаривать со свободнорожденными.

– Следопыт.

– Отстань, Леопард.

Леопард закатил глаза. Касавура стал смеяться.

– Я буду на постоялом дворе «Куликуло», на тот случай, если кто-то захочет поговорить со мной о делах.

– Никто не уйдет без позволения, – проговорил работорговец.

Повернувшись, я направился к выходу и почти добрался до него, когда появились три стражника, держа руки на оружии, но не извлекая его.

– Стража примет тебя за беглеца. Сперва разделается с тобой, а потом уже станет задавать вопросы, – произнес Касавура. Голосок у него оказался писклявее, чем я ожидал. Как у малого ребенка или у захудалой ведьмы. Стражи схватились за оружие, и я выхватил из лямок на спине два топорика.

– Кто первый? – спросил.

Касавура засмеялся громче. Потом спросил:

– И это человек, кому, как ты говорил, время остудило сердце?

Леопард громко вздохнул. Я понимал, что это проверка, просто не любил, чтоб меня подвергали проверкам.

– Мое имя говорит само за себя, так что решай по-быстрому и не трать мое время попусту. К тому же работорговцев я не терплю.

– Принесите еду и напитки. Сырую козлиную ногу для Квеси. Или ты предпочтешь живого, чтоб самому убить? Садитесь, благородные господа, – пригласил Барышник.

Теперь носитель зонта вздернул брови и плотно втянул губы. Он подал хозяину золотой кубок, и тот вручил его мне.

– Это…

– Пиво масуку, – сказал я.

– Ведь говорили же, что у тебя нюх хорош.

Я выпил. То было пиво, лучше какого я никогда не пробовал.

– Вы человек богатый и со вкусом, – оценил я.

Он от похвалы отмахнулся. Поднялся на ноги, но нам махнул, мол, сидите, сидите. Даже его начинали раздражать слуги, что мельтешили перед глазами на каждом шагу. Барышник дважды хлопнул в ладоши, и все они убрались.

– Ты не тратишь время понапрасну, так что не стану его тратить. Уже три года, как украли ребенка, мальчика. Он только-только начинал ходить и мог говорить *«баба»*. Однажды ночью его кто-то украл. Никаких посланий не оставили, и выкупа никто не потребовал – ни запиской, ни с помощью барабанов, ни даже посредством колдовства. Знаю, что за мысль у тебя сейчас в голове. Может, продали его на тайном рынке ведьм: маленький ребенок принес бы ведьмам кучу денег. Только мой караван получил защиту от Сангомы, именно такую, какая по-прежнему наделяет защитой даже после ее смерти. Но тебе это известно, ведь так, Следопыт? Леопард считает, что железные стрелы отскакивают от тебя потому, что им страшно становится.

– Все ж нам с тобой есть еще о чем поговорить, – сказал я Леопарду, придав лицу какое надо выражение.

– Ребенка этого мы доверили одной домоправительнице здесь, в Малакале. Потом однажды ночью кто-то перерезал глотки всем в доме, а ребенка украл. Одиннадцать в доме – все убиты.

– Три года назад? Так они в игре не только далеко ушли, они могли ее уже и выиграть.

– Это не игра, – заметил Барышник.

– Мышка никогда так не думает, зато думает кошка. Ты еще не завершил свой рассказ, а дело уже звучит неосуществимым. Впрочем, заканчивай.

– Благодарю. Мы слышали от нескольких человек, что, возможно, одна женщина с ребенком снимает комнату в гостинице близ Колдовских гор. Все они занимали одну комнату, вот почему один из постояльцев и запомнил. Мы узнали об этом, потому что нашли хозяина гостиницы через день после того, как постояльцы съехали. Послушай меня: мертв, как камень, весь белый оттого, что вся кровь из него ушла.

– Его убили.

– Кто знает? Но потом, десять дней спустя, до нас дошла весть о еще двоих. Два дома аж по пути в Лиш, где мы опять услышали о них – четверо мужчин и ребенок. И все мертво после их ухода.

– Но от тех гор в Лиш добираться одну и еще половину, может, две луны пешком.

– Скажите мне что-нибудь, чего мы не уяснили. Помимо того, что убивают одинаково, все мертво, как камень. Почти две луны спустя люди из Луала-Луала выбежали из своих жилищ и не хотели возвращаться обратно, болтая о ночных демонах.

– Он странствует с бандой убийц, но они его не убили? Что в нем такого ценного? Мальчик, рожденный свободным от работорговца? Он не твой собственный?

– Он дорог мне.

– Это не ответ.

Я поднялся.

– В данный момент мясо в вашей истории там, где вы не желаете говорить, а кость – где говорите.

– Тебе необходимо знать, чтобы работать на меня? Говори откровенно.

– Нет, ему не надо, – сказал Леопард.

– Нет, мне не надо. Только ты ищешь ребенка, кто три года как пропал. Он может быть за Песочным морем, или крокодил давным-давно его высрал в Кровавое болото, мог, насколько нам известно, затеряться в Мверу. Даже если он еще жив, он будет ничем не похож на ребенка пропавшего. Вполне может жить под другой крышей, называть другого отцом. Или четверых.

– Я не его отец.

– Это твои слова. Может, он теперь в рабстве.

Барышник сел передо мной.

– Ты хочешь, чтоб мы занялись поисками. Так скажи мне правду. А тебе нравится словами в меня кидаться.

– О чем?

– Каждому мужчине тут не повезло на войне. Каждую женщину тут купят, и жизнь ее пойдет получше. В конце концов, живи они хорошо, так не оказались бы на невольничьей повозке.

– Он ничего не говорил, почтенный Амаду, это просто у него привычка такая, – запричитал Леопард.

– Не говори за него, Леопард.

– Да уж, Леопард, не говори за меня.

– Ты был рабом, нет?

– Мне не надо совать нос в дерьмо, чтоб понять, что оно воняет.

– Справедливо. И все же кто ты такой, чтоб я тебе свою жизнь расписывал? Ты тот, кто станет искать, и найдет, и вернет жену, даже если ей ее же муж глаза вырезал. У каждого, кто сейчас здесь сидит, есть цена, достойный Следопыт. А твоя и вовсе может оказаться дешевой.

– Что у тебя есть от мальчика?

– Нет, не так быстро. Мне только лишь нужно знать, что предложение тебя цепляет. Мы встретились, мы выпили пива, мы примем решение. Вот что тебе следует знать. Предложение такое я сделал и еще кое-кому. Числом восемь, возможно, девять. Кто-то станет действовать с тобой вместе, кто-то нет. Кто-то постарается найти мальчика первым. Ты не спросил, сколько монет я заплачу.

– А мне и незачем. Учитывая, как дорог он тебе.

Леопард всполошился. Он не знал, что кто-то станет искать ребенка сам по себе. Пришел мой черед угомонить его.

– Следопыт, тебя это не оскорбляет? – спросил он.

– Оскорбляет? Я даже не удивляюсь.

– Я и не думал, что ты способен удивляться. Однако это наш добрый друг Леопард, а не ты, кто все еще не знает, что нет в человеке черного, одни оттенки, и оттенки серого. Моя мать не была доброй женщиной и добродетельной тоже не была. Только сказала она мне: Амаду, богам моленья шли, а двери на запоре держи. Ребенок пропал три года назад.

– Леопард, подумай. Глупо ему было бы доверить это всего двум искателям.

Работорговец хлопнул в ладоши, и трое поспешили вновь войти, чтобы заняться тем же самым: тереть ему ноги, подавать ему финики и глазеть на меня, будто я тоже обращусь в леопарда.

– Даю вам четыре ночи на решение. Путешествие это не будет легким. Есть силы, Следопыт. Есть силы, Леопард. Они приходят с ветром утром или порой, когда солнце в самую высь поднялось, в час слепящего света ведьм. Так же, как я хочу, чтоб мальчика нашли, наверняка есть и такие, кто желает держать его в скрытости. Никто еще слова не сказал про выкуп, и все ж я знаю, что ребенок жив, и знал еще до того, как шаман обращался к старшим богам и те поведали ему, что это так. Но, слушайте вы оба, есть силы. В жаркое время года губительный ветер прокатывается по городам и уносит все, что им иметь не надлежит. Дневной ли грабитель, ночной ли вор – не могу сказать, с чем вы столкнетесь. Однако мы слишком много говорим. Даю вам четыре ночи. Коль «да» станет вашим ответом, встретимся у Рухнувшей Башни в конце улицы Бандитов. Место известно?

– Да.

– Ждите меня там после захода солнца, и это будет вашим согласием.

Барышник повернулся к нам спиной. Наше дело с ним пока было сделано. И тут опять вспомнились мне женщина, какую он убил, и мужчина, кого он сделал евнухом.

– Глупый Следопыт, ты же наверняка знаешь, как евнухами делают? Мужчина этот, верняк, умрет.

Я попросил владелицу устроить Леопарда в комнате, что, как я знал, пустовала. Когда я говорил с ней, на мне не было одежды, так что она сказала, мол, да, разумеется, только теперь плата удваивается. «Не то, вернувшись как-нибудь из своих странствий, вы у себя в комнате ничего не найдете». – «Так у меня и нет ничего», – сказал я.

Леопард согласился на комнату после того, как я сказал ему, что, коль скоро он найдет себе дерево, чтоб спать на нем в обличье зверя, так сразу окажется идеальной мишенью для выстрела из лука и стрела пронзит ему ребра. А все животные в городе принадлежат либо тому, либо другому жителю, так что бродить по улицам и охотиться на них нельзя. И даже если ты убьешь чьего-нибудь козла или курицу, то ни за что не приноси ее к себе в комнату. И если даже ты и принесешь добычу к себе в комнату, не оброни ни единой капли крови. Леопарда слова мои разозлили, но он понял их разумность. Я понимал, что станет он метаться по комнате из угла в угол, зная, что рычать ему нельзя. Попытается спать на окне, но поймет, что нельзя, да еще и чуя, как разгоняется кровь в телах дичи в загонах для животных под окном. Так что он привел в комнату малого. На третий день он поднялся ко мне в комнату, ухмыляясь и поглаживая живот.

– У тебя вид, будто ты целую антилопу к себе затащил.

– Все шито-крыто. В последнее время я б запросто мог обжорой стать.

– Аппетит твой всему постоялому двору известен.

– Тебе б быть единственной монашкой в борделе. Причудливые звери, причудливые порывы, Следопыт. Ты куда сегодня? Я пойду твой город осмотрю.

– Город ты уже видел.

– Хочу твоими глазами взглянуть или, скорее, твоим носом нюхнуть. Знаю, что в этом городе что-то поджидает нас.

Я глянул ему прямо в глаза:

– Иди, почеши яйца, котяра, в свое свободное время.

– Следопыт, кто скажет, что нам нельзя и то, и другое?

– Как хочешь. Мне надо наведаться к нескольким людям. Людям, что ставки делают, но дальше платить не желают. Один человек, кто зло учинил из нашей добродетельности. Иди умойся.

Он выпустил язык, длинный, как молоденькая змейка, и облизал обе свои лапы.

– Готово, – ухмыльнулся. – К кому идем? К человеку, кто тебе денег должен, кому мы ноги вырвем? Каждому по ноге!

Утверждают, что Малакал – город, построенный ворами. Малакал – это горы, а горы – это Малакал. Единственное место, что никогда не подвергалось захвату, потому как это был единственный город, на какой никто даже не осмеливался посягнуть. Одно только карабканье в горы обессилило б и людей, и лошадей. Почти каждый мужчина тут прирожденный воин, и большинство женщин – тоже. Это был последний оплот Короля против ваших южных племен *массыкин*, и именно отсюда мы вновь повели войну и расколошматили ваших южан как сучье племя. Замиренье было вашей идеей, а не нашей. Почти каждый большой город разрастается вширь, а Малакал вместо этого устремляется в небо: дом над домом, башня над башней, некоторые башни до того узки и высоки, что люди забыли про ступени и предоставляют вам взбираться вверх по веревке. Окна над еще одним рядом окон, дома высотой в десять человеческих ростов. Сами башни стоят так тесно, что кажется, будто они повалились друг на друга, а на севере есть одна, какая и привалилась, но ею до сих пор пользуются. И все ж еще у́же были там дороги и проходы между башнями. Четыре стены опоясывали город, поставленные одна внутри другой, четыре кольца встроены в горы, что возвышались одно над другим пиками легких домов. Подойди напрямую, и Малакал предстает подобием четырех крепостей, каждая из которых вырастает из той, что под нею, а башни высятся поверх башен. Но взгляни с птичьего полета, и увидишь большие дороги, ползущие, как по спирали, до самой вершины, а оттуда обратно вниз, с дозорными укреплениями для воинов, с бойницами для лучников, жилье и постоялые дворы, мастерские и торговые дома, богадельни и темные вереницы колдунов, воров и ищущих удовольствия мужчин. Из наших окон видны Колдовские горы, где живут многие сангомы, но находились они слишком далеко. Жители рано познали мудрость использования пространства для птичьих дворов, где куры нагуливали вес, и заборов, за какие не было хода псам и горным зверям. Вниз с гор – кратчайшие пути в долину для невольничьих караванов и к морю для караванов с золотом и солью. В Малакале не производится ничего, кроме золота, и идет торговля всем, что может быть ввергнуто в рабство, за что можно взять пошлину со всех проезжающих, ведь если вы с севера, то мы единственный ваш выход к морю.

Само собой, я речь веду о делах девятилетней давности. Нынешний Малакал ничуть не похож на тот.

– Затрудняюсь сказать, в удачное или неудачное время мы попали в этот город из-за прибытия сюда Короля, – сказал я Леопарду, когда мы выходили.

Караван Короля уже видели в двух днях пути, и весь Малакал ожидал празднования десятилетнего юбилея Кваша Дара, Северного Короля, сына Кваша Нету, великого покорителя Ува-

кадишу и Калиндара. Само собой, празднует он в городе, что внес самый большой вклад в спасение королевской задницы, с тем чтобы его королевское дерьмо по-прежнему подтиралось его подданными. Однако гриоты уже пели хвалы Королю за спасение горного города. Мужчины Малакала даже не служили в его армии, они были наемниками, но стали бы сражаться даже за Массыкин, приди оттуда кто с хорошей деньгой первыми. Но обделайся все боги, если город не собирался заранее позаботиться об устройстве торжества. Черно-золотые флаги Кваша Дара висели повсюду. Даже детишки раскрашивали себе мордочки золотым и черным, будто были они ку или гангатомами. Женщины предоставили золоту левую грудь, а черному – правую, на обеих стоял знак носорога. Ткачи ткали материю, мужчины обряжались, а женщины создавали на головах громадные украшения из цветов – и все это в черно-золотом.

– Твой город прихорашивается, – заметил Леопард.

– Один старейшина шепнул мне, что мир – это слух, мол, и года не пройдет, как мы опять пойдем войной на юг.

– Тебе-то что до этого? Война ли, мир ли, жены все равно желают вызнать, кто спит с их мужьями.

– Вот это одна из самых дельных твоих мыслей, Леопард.

Я жил близ центра города, что было новым для меня. Я всю дорогу был человеком с окраины, всегда на побережье, всегда на рубеже. Так никто никогда не знает, только ли что я пришел или собираюсь уйти. При себе я держал лишь столько, сколько мог уместить в мешок и убраться скорее, чем утечет песок в часах. А вот в месте вроде этого, где люди все время приходят и уходят, ты можешь оставаться в самом центре, никуда не двигаясь, и все же исчезнуть. Что удобно для человека, кого мужики ненавидят. Моя гостиница находилась в центре, за третьей стеной.

Людей, живших в границах третьей стены, другие считали богачами, но это неправда. Большинство народа жило за второй стеной, а воины, солдаты и торговцы на ночь устраивались за первой, что опоясывала весь город, готовый отразить врага. Я рассказываю тебе это потому, как ты никогда не бывал там и, судя по тому, что ты за человек, никогда не побываешь. Ты прав, нынче нам выпало самое долгое замирение, какое только было. Его можно было б даже миром назвать. Я повел Леопарда по улицам, что взбирались вверх и скатывались вниз, извиваясь и сворачивая, петляя до самой последней башни на пике горного хребта. Оглядевшись, я обернулся и увидел, что он смотрит на меня. Потом заговорил:

– Он за нами не идет.

– Кто, твой маленький любовник?

– Зови его как угодно, только не этим.

– Он будет следовать за тобой с края склона.

– Он из дому не выйдет ни сегодня, ни завтра, пока вздутие не перестанет опухать.

– Опухать?

– Прошлой ночью попытался живот мне почесать. Етить всех богов, я поверить не мог. Кто стал бы чесать кошке пузо?

– Он, должно быть, тебя с собакой перепутал.

– Я что, лаю? Или яйца у мужиков обнюхиваю?

– Ну…

– Сейчас лучше умолкни.

Больше я смех сдерживать не мог. Ну да, знал я, что кошки бесятся, когда их пузик трогают, потому как все кошачьи, большие или маленькие, считают животы свои чересчур мягкими, чересчур уязвимыми для нападения. Леопард насупился, потом рассмеялся и огляделся вокруг, когда мы подошли к месту, где дорога шла под уклон. Вокруг, считай, никого не было, если кто и выходил, то тут же, едва завидев нас, бросался обратно под защиту дверей. Я бы

подумал, что они боятся нас, только в Малакале никто не боялся. Понимали, что что-то грядет, и не желали в том участвовать.

– На этой улице быстро темнеет, – сказал Леопард.

Мы подошли к двери человека, что задолжал мне деньги, а рассчитаться пытался россказнями. Он впустил нас, предложил сливового сока и пальмовой водки, но я отказался, Леопард согласился, пришлось сказать, не обращая внимания на то, как он на меня вытаращился, что на самом деле и он отказывается. Хозяин дома стал разматывать еще одну историю – про то, как деньги были на пути из какого-то города близ Темноземья, но, видать, бандиты попались, хотя нес деньги собственный его брат: деньги и еще сладости, что его мама напекла, – сладостей этих он мне даст, сколько душа моя примет. В этой истории одни только мамины сладости были чем-то новым.

– То ли я, то ли проторенные пути стали нынче не так безопасны, как были в войну?

Он говорил мне. А я прикидывал, с какого пальца ломать начать. В тот последний раз я пригрозил ему сломать палец, и не сделать этого значило бы для меня предстать человеком, кто не держит своих обещаний и кто скор на слова, какими в городах просто так не бросаются. А он смотрел на меня, и глаза у него на лоб лезли, да так, что я засомневался, уж не думал ли я вслух. Хозяин побежал в свою комнату и вернулся, таща кошель, тяжелый от серебра. Я, положим, золото предпочитаю, о чем уведомляю всех своих клиентов, прежде чем отправиться на поиски, только этот кошель был вдвое тяжелее, чем его хозяин был мне должен. А может, стоил и того больше.

– Возьми все, – выдохнул он.

– Ты переплачиваешь, я уверен.

– Возьми это все.

– Твой братец что, только что через заднюю дверь вошел?

– Мой дом – не твоего ума дело. Бери и уходи.

– Если тебе этого мало, я…

– Больше чем достаточно. Уходите, чтобы жена моя не прознала, что два грязных оборванца заявлялись к ней в дом.

Я взял деньги и ушел: человек этот меня озадачивал. Леопард же тем временем не в силах был смех унять.

– Ты какой-то шуткой с богами обменялся или намерен поделиться ею?

– Должник твой. Твой человек. Обосрался в другой комнате, точно тебе говорю.

– Как-то странно. Я собирался ему палец сломать, как и обещал. А он смотрел на меня, будто самого бога мщения увидел.

– Он не на тебя смотрел. – Вопрос еще с моих губ не сорвался, как ответ уже сидел в голове.

– Ты…

– Стал обращаться прямо за твоей спиной. Он себе весь перед обоссал, ты разве не унюхал?

– Может, он территорию помечал.

– И это вместо благодарности человеку, кто только что туго кошель тебе набил.

– Принимай мои благодарности.

– Произнеси это поласковей и приятней.

– Терпенье мое испытываешь, котяра.

Он пошел со мной к женщине, что хотела отправить весточку своей дочери в потусторонний мир. Я сообщил ей, что нашел пропавшую, только она не пропала. Еще один желал, чтоб я нашел, где умер один человек, что был ему другом, но его же и обокрал, мол, где бы ни лежал труп, под ним будут мешки и мешки золота. «Следопыт, – сказал он, – я дам тебе десять золотых из первого же мешка». – «Ты отдаешь мне первые два мешка, – ответил я, – и я

позволю тебе взять оставшееся». – «А ну как там всего три мешка окажется?» – заволновался он. «Тебе следовало бы сказать об этом, – заметил я, – до того, как ты дал мне понюхать пот, мочу и сперму с его ночных рубах».

Леопард, насмеявшись, признал, что со мной ему забавнее, чем на представлении двух скоморохов из Кампары[28], изображающих деревянными членами, как они имеют друг друга. Я и не заметил, как солнце уже ушло, пока он, обогнав меня на несколько шагов, не исчез в темноте. Глаза его зелеными огнями горели в темноте.

– А в твоем городе совсем нечем позабавиться? – спросил Леопард.

– Ты уж как-то слишком долго к этому подбирался. Предупреждаю: в этом городе бабы для утех давно перестали изображать из себя мальчиков. Там нет ничего, кроме рубцов евнуха.

– Угу, евнухи. Лучше уж *абука*, дитя силы, без дыр, без глаз, безо рта, чем евнух. Я считал, что им становятся, чтоб заречься от похоти, так, богов проклятие, вот они, как болезнь, расползлись по всем борделям, будоража кровь всякому мужику, просто захотевшему для разнообразия поваляться на спине другого. Впрочем, я ведь не о такого рода забаве думал. Хотелось бы прямо сейчас мальца найти. Того, что три года как пропал.

– Знаю, кого мы могли бы прямо сейчас отыскать.

– Что? Кого?

– Барышника.

– Он отправился на побережье продавать своих новых рабов.

– Он меньше чем в четырех сотнях шагов отсюда, и сопровождает его всего один из его людей.

– Етить всех богов. Ну, верно ж говорили, что есть у тебя…

– Не произноси этого.

Мы углубились в переулок, освещенный двумя небольшими факелами, и взяли их. Это тебе не Джуба, тут не было громадных факелов по углам каждой улицы, что освещали всю дорогу. То был Макалал, и без темноты как бы блудящим облапошивать, а облапошивающим блудить? Мы прошли мимо башни о семи этажах и под тростниковой крышей, мимо трехэтажной, а потом еще одной, в четыре этажа. Миновали небольшую избушку, где жила ведьма, потому никто не хотел жить ни над, ни под ведьмой, три дома, расписанных в сетчатые узоры богачей, и еще одно строение, не понять, для чего предназначенное. Двинулись на запад до самого края первой, самой наружной, стены, мерцающее и желтое пламя высвечивало всего шагов на двадцать впереди. Я походил на дикого пса саванны, чуявшего слишком много мяса – и живого, и мертвого, и молнией сожженного.

– Пришли.

Мы остановились у дома в четыре этажа, здания повыше бросали на него тень от луны. Спереди не было никакой двери, а самое низкое окно проглядывало на высоте в три человеческих роста. Одно окно, на самом верху и посередине, было темным, с чем-то похожим на мерцающий свет в глубине. Я указал на дом, потом на окно:

– Он там.

– Следопыт, не повезло тебе. Как ты собираешься попасть туда? Или ты теперь ворон под стать моему леопарду?

– Изо всех птиц в десяти и еще двух королевствах ты меня лишь в ворона обратил?

– Замечательно, голубь, ястреб, а как тебе сова? Лучше тебе летать быстро, потому как двери тут нету.

– Дверь есть.

Леопард пристально глянул на меня, потом, насколько смог, обошел дом.

– Нет, никакой двери нет.

---

[28] *Kampara* – деревня, деревенский (*эсперанто*).

– Нет, это у тебя глаз нет.

– Ха, это у тебя глаз нет. Слушаю тебя и порой слышу ее.

– Кого?

– Сангому. У тебя те же слова вылетают, что и у нее. Ты еще и думаешь, как она, что умный. Ее колдовство все еще оберегает тебя.

– Будь это колдовство, оно б меня не оберегало. Она навела на меня что-то такое, что не дает развернуться коварству, мне об этом рассказал один ведьмак, что пытался убить меня чем-то металлическим. Не то чтобы это чувствуется кожей или костяком. Что-то, что остается даже после ее смерти, что опять-таки делает это не колдовством, ведь все колдовские чары умерли вместе с нею.

Я подошел вплотную к стене, будто целовать ее собирался, потом шепнул заклинание – так тихо, чтоб даже Леопард со своим звериным слухом не слышал.

– Будь то колдовство, – сказал я.

Я отпрянул и отступил назад. В таких случаях у меня всегда возникает то же ощущение, что и после того, как попью сока из кофейных зерен: вроде у меня под кожей колючки наружу пробиваются, силы ночи выходят схватить меня. Я пошептал в стену: у этого дома есть дверь, и я, с волчьим глазом, ее открою. Я отступил, и безо всякого факела по стене побежал огонь. Белое пламя промчалось по четырем углам, обозначив дверь, протрещало, прогорело и само собой погасло, оставив простую деревянную дверь безо всяких следов огня.

– Кто тут ни есть, а он связан с наукой, – сказал я.

Глиняные, скрепленные известковым раствором ступени привели нас на первый этаж. Помещение было пусто от человечьего запаха, в темноте виднелся арочный проход. Сквозь окна проникал лунный свет. Я в уловках толк знаю, но котяра шел до того тихо за моей спиной, что дважды мне казалось, что он за мной вверх не идет.

Люди над нами говорили вполголоса. На следующем этаже находилась комната с запертой дверью, но за нею я не почуял людей. На половине лестницы запахи повалили на нас сверху: сгоревшее мясо, засохшая моча, провонявшие туши зверей и птиц. Возле вершины лестницы на нас посыпались звуки, шептания, рыканье: мужчина, женщина, две женщины, двое мужчин, животное какое-то, – я сожалел, что слух у меня не так хорош, как нюх. Голубой огонек высверкнул из комнаты, затем пропал в темноте. Мы никак не могли подняться по последним ступеням без того, чтоб нас не увидели или услышали, а потому мы встали посредине пролета. Во всяком случае, нам видно было происходившее в комнате. И мы разглядели, что высверкивало голубым огоньком.

Темная женщина с железным ошейником на цепи вокруг шеи, с волосами почти белыми, но казавшимися голубыми, когда в комнате сверкал голубой огонь. Она кричала, рвала цепь с горла: голубой свет вспыхивал внутри нее и пробегал по тому раскидистому древу у нее под кожей, какое видно становится, когда вскрываются части тела человека. Вместо крови пробегал в ней голубой свет.

Потом она опять темнела. Только благодаря этому свету нам и удалось разглядеть Барышника в темных одеждах, слугу, что скармливал ему финики, и еще кого-то с запахом, какой я и помнил, да не мог узнать.

Потом та, другая, тронула палочку, что вспыхнула, как факел. Цепная отпрыгнула назад и втиснулась в стену.

Женщина держала факел. Я ее прежде никогда не видел: уверен в том был даже в темноте, но запах ее был знакомым, таким знакомым. Выше всех остальных в комнате, с густыми и всклокоченными волосами, она походила на некоторых женщин за Песочным морем. Она указала факелом вниз, на зловонную половину тела собаки.

– Скажи мне правду, – произнес Барышник. – Как тебе удалось втащить собаку в эту комнату?

Цепная зашипела. Она была голая и до того грязна, что казалась белой.

– Иди ближе, и я скажу тебе правду.

Барышник подошел, баба раздвинула ноги, пальцем расправила свою *кхекхе,* направляя струйку мочи, и замочила его сандалии, прежде чем он успел отскочить. Она принялась смеяться, но работорговец стиснул костяшки кулака и вышиб кудахтающий смех у нее изо рта. Леопард прыгнул, и я схватил его за руку. Цепная, казалось, смеялась, пока факел высокой женщины снова не осветил ее глаза, полнившиеся слезами. Заговорила она:

– Тытытыты – все уходите. Все вы должны уйти. Уходите сразу, бегитебегитебегитебегите, потому как отец на подходе, он на ветре едет, что ль, не слышите, лошадь скачетскачетскачет, не поцеловать вам голову нечистых чад ваших, ступайте мыть мытьмытьмытьмытьмыть…

Барышник кивнул, и высокая женщина сунула факел прямо в лицо цепной. Та опять отпрыгнула и заворчала:

– Никто не едет! Никто не едет! Никто не едет! Ты кто?

Барышник придвинулся, чтобы ударить ее. Цепная вздрогнула и спрятала лицо, моля не бить ее больше. Слишком много мужчин били ее и били ее все время, а ей всего-то и хотелось подержать своих мальчиков, первого, и третьего, и четвертого, но не второго, тот не любит, когда люди его держат, а ведь даже не его мать. Я по-прежнему держал Леопарда за руку и чувствовал, как ходили его мышцы, как вставали его волосы под моими пальцами.

– Хватит этого, – сказала высокая женщина.

– Так ее говорить заставишь, – откликнулся работорговец.

– Ты должен бы считать ее одной из своих жен.

Рука Леопарда перестала дергаться. Высокая носила черное платье из Северных земель, что доходило до пола, но, скроенное в обтяг, делало ее тонкой. Она склонилась над женщиной на цепи, что все еще прятала лицо. Я его не видел, но понимал, что цепная дрожала.

– Настали дни, каких не должно было бы быть в твоей жизни. Расскажи мне о ней, – произнесла высокая.

Барышник кивнул своему подавателю фиников, и тот, откашлявшись, начал:

– Судьба этой женщины очень странна и печальна. Рассказ я веду, и я непременно…

– Не надо представления, осел. Просто расскажи.

Жаль, я не видел, как он насупился: тьма скрывала его лицо.

– Мы не знаем ее имени, а что до ее соседей, так они все от страха перед ней разбежались.

– Она тут ни при чем. Твой хозяин заплатил им, чтобы они ушли. Перестань тратить мое время попусту.

– А мне твое время до крысиной задницы.

Высокая растерялась. Уверен, никто не ожидал, что такое с его губ соскочит.

– Он всегда так? – обратилась высокая к Амаду. – Может, ты мне расскажешь ее историю, рабий барышник, а ему я, может, язык отрежу.

Подаватель фиников выхватил из рукава нож и повернул его рукоятью к высокой со словами:

– А как тебе такая забава? Я тебе нож даю, а ты – попробуй.

Высокая нож не взяла. Цепная по-прежнему прятала свое лицо, забившись в угол. Леопард успокоился. Высокая женщина смотрела на подавателя фиников с пытливой улыбкой.

– Он мастак базарить, этот-то. Ладно, выкладывай свою историю. Я послушаю.

– Ее соседка, прачка, говорит, что зовут ее Нуйя. Никто ее не знает и о ней не справлялся, вот и будет имя ей Нуйя, хотя она на него не откликается. Она вон ему откликается. И никому из живущих не рассказать о ней, кроме нее самой, а она не говорит. Но вот что нам известно. Пусть имя ей будет Нуйя, а жила она в Нигики со своим мужем и пятью детьми. Садык, Маханг, Фула…

– Покороче, подаватель фиников.

Высокая женщина указала на него. Сама же не отрывала глаз от сидевшей на цепи.

– Однажды, когда солнце миновало полдень и склонялось к закату, в дверь к ней постучался ребенок. Мальчик, по виду лет пяти и еще четырех.

– У нас на севере для этого одно слово есть. Мы говорим: девять, – перебила высокая. Она улыбнулась, а подаватель фиников насупился, потом продолжил:

– Мальчишка стучал в дверь так: бах-бах-бах-бах-бах, – словно собирался высадить ее. «Они за мной, за мной гонятся, спасите этого мальчишку!» – говорит он. «Спасите этого мальчишку, спасите его, – говорит. – Спасите меня!»

Цепная метнула взгляд. «Сссссссссссссспассимальчшшшшшш», – зашипела.

– Малыш кричал да кричал – что матери было делать? Матери четырех своих мальчишек. Она открыла дверь, и малый вбежал в дом. Влетел прямо в стену, отскочил и так не переставал метаться, пока она дверь не закрыла. «Кто гонится за тобой? – спрашивает Нуйя. – Уж не от отца ли своего ты бежишь? Или от матери?» Да, матери могут быть строгими, а отцы необузданными, только и взгляд мальчика, и страх в его глазах не требовали крепких слов или обмана. Она потянулась к нему рукой, и он отпрянул так резко, что стукнулся головой о шкаф с посудой и упал.

Мальчик не кивал, не рассказывал, только плакал, ел да за дверью следил. Четыре ее сына, Маханг с Садыком в том числе, спрашивают: «Кто этот странный мальчик, мама, и где ты его нашла?» Играть с ними мальчик не стал, так что они оставили его в покое. А он знай себе плачет да ест. Муж Нуйи работал на золотых приисках и возвращался не раньше утра. Ей в конце концов удалось уговорить его перестать плакать в обмен на обещание просяной каши утром с добавкой меда. В ту ночь Маханг спал, Садык спал, два других мальчика спали, даже Нуйя спала, а она никогда не ложилась спать, пока все ее мальчики не окажутся под одной крышей. Слушайте же теперь. Один из них не спал. Один из них встал с циновки и открыл дверь, хотя никто не стучал. Мальчик. Мальчик идет к двери, в какую никто не стучал. Мальчик отворяет дверь, и он входит. Красивый был мужчина: шея длинная, волосы черные с белым. Ночь прятала его глаза. Губы толстые, подбородок квадратный и белая кожа, как у альбиноса. Слишком велик ростом для той комнаты. Укутан в белый с черным плащ. Мальчик указывает на комнаты в глубине дома. Красавец первым делом идет в комнату детей и убивает с первого сына по третьего, и пол делается мокрым от крови. Мальчишка смотрит. Красавец будит мать, принявшись ее душить. Поднимает ее над своей головой. Мальчишка смотрит. Бросает ее оземь, и она корчится от боли, начинает выть, кричать и кашлять, но никто не слышит. Она видит, как красавец выносит четвертого сына, самого маленького мальчика, малютку-соню, и тянет сонную его головку вверх. Мать пытается закричать: нет, нет, нет, нет, – но красавец лишь смеется и режет малютке горло. Она кричит и кричит, а он бросает четвертого сына и наваливается на нее. Мальчик смотрит.

Отец приходит домой, когда солнце уже высоко в небе. Он приходит домой уставший и голодный, зная, что больше ему не надо будет никуда идти, пока солнце не сядет. Он кладет свою кирку, копье свое кладет, снимает рубаху и остается в одной набедренной повязке. «Где моя еда, женщина? – говорит. – Тут ужин должен стоять, да и завтрак заодно». Мать выходит из своей комнаты. Мать нагишом. Волосы всклокочены. Из комнаты какой-то сыростью несет, и отец говорит, мол, нюхом чую, дождь должен скоро пойти. Слышит, как она подходит, и хочет знать, где завтрак и где дети. Она прямо у него за спиной. В комнате темнеет, а то вдруг свет вспыхивает, и он говорит: «Гроза идет?» А на дворе-то солнце ярко светит. Он оборачивается и видит, что это жену его молниями изнутри пробивает, как и сейчас они из нее высверкивают. Он смотрит вниз и видит на полу мертвого четвертого сына. Муж ее назад отскакивает, вверх смотрит, а она хватает его голову обеими руками и ломает ему шею. Когда молнии внутри улеглись, сознание к ней возвращается, она оглядывает свой дом и видит, что все погибли: четверо сыновей и муж, – а про мальчика и красавца она не помнит, потому как

оба они пропали. Только она да тела мертвые, и она думает, что это она их убила, и ничто не убеждает ее в обратном, и молнии вспыхивают у нее в голове, и она сходит с ума. Она убивает двух стражей и одному ногу ломает, прежде чем ее схватили. И засадили в темницу за семь убийств. Невзирая на то что никто не верил, будто ей было по силам сломать шею крупному мужику, который в поле в одиночку работает. В камере она пробует убить себя всякий раз, как вспоминает, что на самом деле произошло, потому как она скорее поверит, что сама всех убила, чем в то, что маленький мальчишка, кого она в дом впустила, всех их убил. Только она почти все время не помнит ничего и лишь рычит, как гепард в западне.

– Долгая вышла история, – произнесла высокая женщина. – Кто был тот мужчина?

– Кто?

– Высокий белый мужчина. Кто это был?

– Имя его не помнит ни один гриот.

– Что за волшбу он в ней оставил, из-за чего это случилось?

Свет снова начал светиться в женщине. Она вздрагивала всякий раз, когда это случалось, будто на нее припадки нападали.

– Никто не знает, – ответил подаватель фиников.

– Кто-то знает, только не ты.

Высокая перевела взгляд на Барышника:

– Как ты ее из тюрьмы вызволил?

– Это было нетрудно, – хмыкнул тот. – Они уж давно не чаяли, как от нее избавиться. Она даже мужиков не заботила. Каждый день, как только она вставала, так говорила, что он на восток идет или на юг, и бежала в ту сторону прямо в стену или в железную решетку, о какую два раза себе зубы ломала. Потом вспомнит про свою семью и снова совсем с ума сходит. Мне ее продали всего за одну монету, когда я сказал, что продам ее какой-нибудь хозяйке. Держу ее тут до поры, как она пользу приносить станет.

– Пользу? Ты ж стоял в ее дерьме, видел червей на дохлой собаке, какую она жрала.

– Ты ничего не понимаешь. Белый человек. Он ее не убил, и что он делает, он делает и с другими. Множество баб вроде нее бегают на воле в этих землях, и множество мужиков тоже. Даже дети есть и, я слышал, один евнух. Из баб он берет все, так что у них не остается ничего, только ничего – это чересчур много, чтоб снести одной бабе, вот она и ищет, бегает, высматривает. Взгляни на нее. Даже сейчас она хочет быть с ним, она будет с ним рядом, и ей больше ничего не надо, она позволит ему съесть себя и ни за что не даст ему уйти. Никогда не перестанет она следовать за ним. Он теперь ее опиум. Взгляни на нее.

– Я гляжу.

– Когда он двигает на юг, она бежит на юг, к тому окошку. Когда он поворачивает на запад, она замирает и несется туда, пока цепь ее обратно за шею не дернет.

– Он кто?

– Ты знаешь кто.

– Эта сказка твоя уже в зубах навязла. А мальчик?

– Что – мальчик?

– Ты знаешь, о чем я спрашиваю, достопочтенный.

Барышник ничего не сказал. Высокая женщина опять посмотрела на женщину на цепи, когда та подняла голову от измаранных рук. Казалось, высокая улыбается ей. Цепная плюнула ей на щеку. Высокая ударила ее по лицу так крепко и так быстро, что цепная врезалась в стену и сползла на пол.

– Будь у этой сказки крылья, она б уже долетела до востока, – сказала высокая. – Ты хочешь пойти по следу пропавшего мальчика? Начни с тех ребячьих насилий над старейшинами в Фасиси.

– Мне нужно, чтобы ты пошла по следу этого мальчика, того, какого эта баба видела в компании белого человека. Это он.

– Старая сказка, какой мамаши детей пугают, – фыркнула высокая женщина.

– Скажи мне правду – почему ты сомневаешься? Никогда прежде не видела бабы вроде нее?

– Я даже убила нескольких.

– Люди из Нагити на всем пути до Миту болтают про то, что видели белого человека, белого как глина, с мальчиком. И других тоже. Есть много рассказов о том, как они входили в городские ворота, но ни один из наших агентов не засвидетельствовал их уход.

Подаватель фиников заговорил:

– У нас есть…

– Ничего. От сумасшедшей, тоскующей по своей малютке-соне. Уже поздно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.